Научно-популярный журнал
Института русского языка
Академии наук СССР

Русская речь

5

1987 СЕНТЯБРЬ · ОКТЯБРЬ

Основан
в 1967 году
Выходит
6 раз в год
Издательство
"Наука"
Москва

В НОМЕРЕ:

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

3 *Т. Ф. Иванова.* «Шаг вперед всего человечества...»
9 *Л. И. Скворцов.* О языке первых лет Октября

В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТУ

19 *Н. Н. Кохтев.* Публицистическое мастерство Ф. Э. Дзержинского
24 Святослав Рерих — читателям «Русской речи»

ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

27 *В. П. Николаева.* «Будущее не придет само...»
31 *В. И. Порудоминский.* Даль и Пушкин
40 *А. И. Соболев.* «Песня в подземелии...» (Поэтический строй лирики К. К. Случевского)

Из наблюдений текстолога

47 *Э. Г. Бабаев.* Три курсива в «Анне Карениной»
50 *В. М. Фонштейн.* «Вы думаете, павшие молчат?» (Выразительные средства в поэме Е. Исаева «Суд памяти»)

ПИСАТЕЛЬ И СЛОВО

55 *Ю. В. Томашевский.* «Я взял подряд на этот заказ...» (М. М. Зощенко о литературе и ее языке)

РУССКИЙ ЯЗЫК И НТР

65 *Л. К. Граудина.* Путь термина в литературный язык

КУЛЬТУРА РЕЧИ

73 *В. Н. Сергеев.* Словари советской эпохи

СРЕДИ КНИГ

78 Культура речи на сцене и на экране
80 В. М. Мокиенко. Образы русской речи
82 К выпуску Словаря древнерусского языка XI—XIV вв.

К УРОКУ РУССКОГО ЯЗЫКА

84 *Н. В. Гонгелева.* О слове *вообще* в нашей речи

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЯЗЫКОВЕДЫ

87 *Р. Ф. Касаткина.* С. С. Высотский — фонетист и диалектолог (1907—1986)

СЛОВО МОЛОДОМУ ЛИНГВИСТУ

92 *Ю. А. Печенина.* Природа глазами рассказчика

97 *Л. Ф. Фролова.* «Великий возрастом»

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ

99 *А. К. Михайлов.* Мой русский язык

ИЗ ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ И ПИСЬМЕННОСТИ

103 *В. П. Козлов.* Трагедия на Разгуляе

111 *Е. М. Верещагин.* К счастью, явился Пушкин

118 *Е. А. Динерштейн.* «Ступени жизни» Ивана Дмитриевича Сытина

РУССКИЕ ГОВОРЫ

124 *В. А. Закревская. Хаживал, езживал, видывал...*

ЯЗЫК И ОБРАЗЫ ФОЛЬКЛОРА

128 *В. Н. Вакуров.* «Где горшок с кашей...»

НА КАРТЕ РОДИНЫ

133 *Е. С. Отин.* Тор и Краматорск

ИЗ ИСТОРИИ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ

137 *Ж. Ж. Варбот.* Кавычки

142 *Н. В. Солоник.* «Между нами чьи-то имена...»

146 *О. В. Прискока. Тереть* или *пилить*?

152 ХРОНИКА

154 КРОССВОРД

ПОЧТА «РУССКОЙ РЕЧИ»

156 «И, конечно же, *улица Кузнецкий мост*!»

На обложке использован фрагмент оформления книги Джона Рида «10 дней, которые потрясли мир»

© Издательство «Наука», Русская речь, 1987 г.

1917—1987

«Шаг вперед всего человечества...»

Т. Ф. Иванова,
кандидат филологических наук

«Чем дальше отходит от нас этот великий день, тем яснее становится значение пролетарской революции в России, тем глубже мы вдумываемся также в практический опыт нашей работы, взятый в целом» — так писал В. И. Ленин в статье «К четырехлетней годовщине Октябрьской революции» (Полн. собр. соч. Т. 44, с. 144).

В преддверии семидесятилетия Великого Октября, обращаясь памятью к далеким героическим дням 1917 года, мы бережно собираем все свидетельства современников и участников революции, написанные по следам этого величайшего в мире события. С особым чувством вчитываемся мы в слова не просто участника Октябрьской революции, а ее творца и руководителя, стоящего у самых истоков нашей партии, нашей революции и нашего государства,— Владимира Ильича Ленина.

Материалы картотеки Словаря языка В. И. Ленина позволили проанализировать высказывания В. И. Ленина об Октябрьской революции, в которых дана оценка ее значения для судеб России и человечества в целом, поставлены задачи строительства нового социалистического общества. В настоящей статье мы можем привести лишь небольшую их часть с минимальным комментарием, так как исчерпывающий анализ всех ленинских высказываний об Октябрьской революции (их более четырехсот) заслуживает отдельной книги.

Характерной чертой всех оценок В. И. Лениным Великого Октября является их связь с конкретными задачами, стоящими перед страной и партией. В ленинских размышлениях отсутствует

парадность, самоуспокоенность. Затрагивая тему революции, В. И. Ленин больше говорил и писал не о том, что сделано, а о том, что предстоит сделать: «Лучший способ отпраздновать годовщину великой революции — это сосредоточить внимание на нерешенных задачах ее. Особенно уместно и необходимо подобное отпразднование революции в тех случаях, когда есть коренные задачи, еще не решенные революцией, когда требуется усвоить нечто новое (с точки зрения проделанного революцией до сих пор) для решения этих задач» (т. 44, с. 221). Вместе с тем В. И. Ленин, как никто другой из его современников, сумел увидеть и оценить всемирно-историческую роль революции 1917 года.

Прежде всего о названии события 25 октября (7 ноября) 1917 года. Наиболее часто В. И. Ленин при этом использовал слово *революция*, но интересно, что употреблял он его в двух значениях: во-первых, как название факта, события 25 октября 1917 года, во-вторых, как название целой эпохи политических, экономических и социальных перемен в жизни нашей страны, начавшейся 25 октября 1917 года. Для обозначения самого «момента взятия власти пролетариатом» встречаются такие наименования: «революция 25 октября»; «переворот 25 октября»; «рабочая и крестьянская революция»; «победная революция пролетариата и гарнизона Петрограда»; «перелом»; «Октябрьская революция»; «Октябрьская революция 1917 года»; «Октябрьское восстание»; «социалистическая революция»; «русская революция»; «Великая Октябрьская революция»; «Октябрь»; «Великая Октябрьская революция 1917 года»; «Октябрьские дни»; «Российская революция»; «победившая большевистская революция»; «победоносный социалистический переворот»; «Октябрьско-Ноябрьская революция 1917 года»; «восстание петроградских рабочих»; «большевистская советская революция»; «величайший политический переворот»; «знаменитое 25 октября 1917 года» и другие.

В этих названиях чаще всего указывается дата события (октябрь 1917 г., 25 октября), а также движущие силы (*рабочие, пролетариат, крестьянство*), стремительный характер события (*переворот, перелом, восстание, революция*), суть совершенной революции (*социалистическая, большевистская, советская*), ее грандиозность (*великая, величайшая, победившая, победоносная*), ее национальная принадлежность (*русская, Российская*). Уже в речи 20 (7) ноября 1917 года В. И. Ленин называет Октябрьскую революцию «величайшим в мире переворотом» (см.: т. 35, с. 60).

На понимание В. И. Лениным революции как длительного, развивающегося процесса указывают такие контексты: «Октябрьская революция... на наших глазах переживает последовательные этапы

своего развития» (т. 35, с. 163); «Социалистическая революция началась, теперь все зависит от образования товарищеской дисциплины...» (т. 35, с. 309—310); «...сплошным триумфальным шествием были первые месяцы русской революции после 25 октября 1917 года» (т. 36, с. 5); «...мы пережили первую эпоху развития революции, начало которой идет с Октябрьских дней...» (т. 36, с. 234); «Первая стадия, первая полоса в развитии нашей революции после Октября...» (т. 37, с. 352); «Если вы назовете революцию Октябрьско-Ноябрьской, то тем самым дадите возможность сказать, что дело сделано не в один день. Но, конечно, она происходила в более долгий период — не за октябрь, не за ноябрь и даже не в год» (т. 38, с. 175); «...мы должны оглянуться назад, должны обратить внимание на ход нашей революции, начиная с 1917 года» (т. 39, с. 174); «...ход и развитие пролетарской революции...» (т. 43, с. 131).

Все эти стороны (и как события, и как процесса) — характер движущих сил, указание на сроки и суть ее — нашли свое отражение в названии «...Октябрьской, советской, пролетарски-крестьянской революции, начавшейся 25 октября 1917 года...» (т. 35, с. 163).

Основное внимание уделяет В. И. Ленин революции как длительному процессу, начало которому положило октябрьское восстание, мировому значению этого процесса и небывалым по размаху и глубине задачам, которые встали перед страной, первой в мире ставшей на путь социализма. Целый ряд контекстов показывает, как В. И. Ленин оценивал разные стороны и задачи практической деятельности партии и государства.

Особо подчеркивается характер революционного строительства новой жизни как самостоятельного творчества миллионных масс. Залог успеха Октябрьской революции В. И. Ленин видит именно в том, что партия сумела привлечь эти миллионные массы не только к разрушению старого, но и к созданию нового общества: «...наша революция была бы, *и она будет перед всемирной историей*, велика и непобедима, ибо *первый раз* не меньшинство.., а настоящая масса, громадное большинство трудящихся *сами* строят новую жизнь, *своим опытом* решают труднейшие вопросы социалистической организации» (т. 37, с. 61); «...главной задачей пролета-

риата и руководимого им беднейшего крестьянства во всякой социалистической революции,— а следовательно, и в начатой нами 25 октября 1917 г. социалистической революции в России,— является положительная или созидательная работа налажения чрезвычайно сложной и тонкой сети новых организационных отношений, охватывающих планомерное производство и распределение продуктов, необходимых для существования десятков миллионов людей. Такая революция может быть успешно осуществлена только при самостоятельном историческом творчестве большинства населения, прежде всего большинства трудящихся» (т. 36, с. 171); «И то обстоятельство, что в России создалась Советская власть, показало, что богаче всего революционным опытом является сама революционная масса,— когда на помощь немногим десяткам партийных людей являются миллионы,— сама практически за горло берущая своих эксплуататоров» (т. 35, с. 266); «Все, чего мы достигли, показывает, что мы опираемся на самую чудесную в мире силу — на силу рабочих и крестьян» (т. 44, с. 234).

В. И. Ленин уделяет много внимания форме власти, созданной самими трудящимися,— Советам, подчеркивая их роль в строительстве нового общества и одновременно — международное значение самой идеи Советов: «Советская власть есть путь к социализму, *найденный массами трудящихся и потому* — верный и потому — непобедимый» (т. 38, с. 239); «...потому наша революция все остальные революции далеко оставила за собой, что она подняла через Советскую власть к активному участию в государственном строительстве десятки миллионов тех, которые раньше оставались незаинтересованными в этом строительстве» (т. 42, с. 140); «Советский тип государства нами завоеван,— это есть шаг вперед всего человечества...» (т. 45, с. 110).

В. И. Ленин неоднократно говорил о чрезвычайной сложности стоящих перед революцией задач по сравнению с уже достигнутыми успехами, неустанно разъяснял, что решение этих задач требует *самоотверженной, медленной, кропотливой хозяйственной* работы: «...социалистическая революция... решительно выдвигает в первую голову вопросы пролетарской дисциплины и организации трудящихся, и умение подходить к работе со строгой деловитостью и знанием интересов крупной промышленности. Эти вопросы пролетариат должен решить практически, ибо иначе он потерпит поражение.— Тут главная, настоящая трудность социалистической революции» (т. 36, с. 247—248); «На нас сейчас история возложила работу: величайший переворот политический завершить медленной, тяжелой, трудной экономической работой, где сроки намечаются весьма долгие. Всегда в истории великие политические перевороты

требовали длинного пути на то, чтобы их переварить... И эта часть работы, т. е. политический переворот, была выполнена нами так, что всемирное историческое значение этого дела бесспорно. Затем, за великим политическим переворотом встает, однако, другая задача, которую нужно попять: нужно этот переворот переварить, претворить его в жизнь...» (т. 44, с. 326); «*„Полоса пропаганды декретами" прошла.* Массы поймут и оценят **лишь** деловую практическую работу, *практический успех* в хозяйственной и культурной работе» (т. 45, с. 417—418); «Учиться надо тому, что без машины, без дисциплины жить в современном обществе нельзя,— или надо преодолеть высшую технику, или быть раздавленным» (т. 36, с. 116).

О перспективах созидательного строительства В. И. Ленин писал с присущим ему оптимизмом: «У нас есть материал и в природных богатствах, и в запасе человеческих сил, и в прекрасном размахе, который дала народному творчеству великая революция,— чтобы создать действительно могучую и обильную Русь» (т. 36, с. 80).

Самая большая группа контекстов содержит общие оценки Октябрьской революции с точки зрения ее влияния на ход истории. Здесь характерно обобщение В. И. Лениным основных черт Октябрьской революции, переход к сжатому, афористичному построению фразы, что было вызвано необходимостью ярко, образно, доходчиво, убедительно сформулировать для слушателя или читателя суть и всемирное значение Великого Октября. Как и в других случаях, в соответствии с темой выступления, заметки или статьи, В. И. Ленин подчеркивал то одну, то другую сторону всемирно-исторического значения Октября.

Но есть в ленинском многогранном понимании революции одна мысль, к которой он постоянно возвращался: Октябрьская революция несет в себе непреходящие моральные и нравственные ценности, отсутствующие в мире капитала. Поэтому так велика притягательная сила идей Великого Октября для широчайших народных масс во всех странах:

«Пример социалистической Советской республики в России будет стоять живым образцом перед народами всех стран...» (т. 35, с. 250); «За нами большинство народа. За нами большинство трудящихся и угнетенных во всем мире. За нами дело справедливости. Наша победа обеспечена» (т. 35, с. 66); «...прочность Советской республики с каждой неделей и с каждым месяцем возрастает и вместе с тем растет сочувствие к ней среди трудящегося и эксплуатируемого населения всех стран» (т. 36, с. 333); «Новый мир, мир социализма,— вот что встает перед нами в своем очертании, как

Советская республика» (т. 37, с. 63); «С самого начала революции мы говорили, что мы представляем из себя партию интернационального пролетариата, и, как бы ни велики были трудности революции, придет время,— и в самый решительный момент скажется сочувствие, солидарность рабочих, угнетенных международным империализмом» (т. 39, с. 390); «Во всех странах мира... пробуждается сознание и с каждым днем растет революционное движение. Все они смотрят на одну звезду, на звезду Советской республики, потому что знают, что она пошла на величайшие жертвы ради борьбы с империалистами и устояла против отчаянных испытаний» (т. 40, с. 177); «Несмотря на ложь буржуазной прессы, несмотря на бешеное сопротивление, которое оказала вся буржуазия, несмотря на это, симпатии рабочих масс оказались на стороне Советов, Советской власти и большевизма» (т. 40, с. 205); «Мы достигли того, что слово „Совет" стало понятным на всех языках» (т. 38, с. 37).

Приведенные в статье высказывания позволяют увидеть, как В. И. Ленин воспринимал, анализировал и оценивал Октябрьскую революцию. В строках, посвященных Октябрю, он предстает перед нами как крупнейший политический деятель и публицист, сумевший впервые в мире (буквально в первые же послеоктябрьские месяцы и годы) с марксистских позиций дать исчерпывающий и точный анализ Великой Октябрьской социалистической революции, ее всемирно-исторической роли, и выразивший свои оценки в замечательных по силе, емкости и выразительности словах. Ход истории блестяще подтвердил ленинское предвидение.

Никогда не победят того народа, в котором рабочие и крестьяне в большинстве своем узнали, почувствовали и увидели, что они отстаивают свою, Советскую власть — власть трудящихся, что отстаивают то дело, победа которого им и их детям обеспечит возможность пользоваться всеми благами культуры, всеми созданиями человеческого труда.

В. И. Ленин

Наблюдения ученых-языковедов 20-х годов над изменениями в русском языке революционной эпохи, опубликованные в то же время, представляют значительный интерес. Большинство из этих работ, к сожалению, мало известно широкому кругу современных читателей. В предлагаемой статье рассмотрен ряд публикаций, принадлежащих перу замечательных специалистов. Вот эти книги и статьи: *Селищев А. М.* Язык революционной эпохи. Изд. 2-е. М., 1928; Революция и язык.— Сб. На путях к педагогическому самообразованию. М., 1925; Выразительность и образность языка революционной эпохи.— Сб. Родной язык в школе. 1927, кн. 3. *Карцевский С. И.* Язык, война и революция. Берлин, 1923. *Успенский Л. В.* Язык революции.— Сб. Пять искусств. Л., 1928; *Черных П. Я.* О новых словах. — Этнографический бюллетень. № 3. Иркутск, 1923. *Поливанов Е.* За марксистское языкознание [сб. статей]. М., 1931.

О языке первых лет Октября

По материалам публикаций 20-х годов

Л. И. Скворцов,
доктор филологических наук

Труды ученых-лингвистов 20-х годов интересны тем, что их авторы — живые свидетели и очевидцы происходивших событий. Наблюдения сделаны ими по горячим следам и свежим впечатлениям; они отражают не только письменную речь, но и активные процессы живого массового общения, речевую картину эпохи, о многих сторонах которой мы можем судить сегодня лишь на основании более или менее отрывочных и разнородных публикаций. Самое ценное в представленных ниже материалах — это то, что они получены, по существу, из первых рук и могут рассматриваться как «полевые записи» языковедов, в которых с профессиональной точностью передается речевой аромат и речевая ситуация того времени. Языковые процессы и тенденции, у истоков которых стояли первые исследователи русского языка революционной эпохи, получили свое развитие в последующие десятилетия и обобщены в трудах совет-

ских лингвистов, в частности, в монографии «Русский язык и советское общество» (в четырех книгах. М., 1968).

К относительно внешним процессам языковых изменений 20-х годов принадлежат случаи «выпадения» (забвения) и переосмысления слов, а также появление новообразований, переименований и т. п. Вышли из обихода в послеоктябрьскую эпоху такие слова, как *учредиловка, керенка, земгор, главковерх,* выражение *царский день* и др. К разряду «умирающих слов» отнесены Карцевским *повытчик, воевода, дьяк, купец, городничий* и *городовой* и мн. др.

Новые значения слов (или оттенки значений) показаны исследователями на следующем лексическом материале: *Октябрь, революция, буржуазный* (с отрицательным оттенком), *господин* (с ироническим оттенком), *выступление* (в значении «восстание»), *события* (в значении «беспорядки»), *общественник, расписаться* (в значении «вступить в брак»; «повсюду в употреблении этот термин»,— отмечает Селищев). Заметна активизация существительных на *-ец, -овец, -евик, -овик: выдвиженец* (выдвинувшийся из народной среды своим знанием, опытом), *партиец* (член партии), *просвещенец* (деятель в области просвещения); *вузовец* (учащийся вуза), *рабфаковец* (учащийся рабфака), *кружковцы* (члены кружка); *боевик* (подпольщик-боевик), *низовик* (работающий в «низовой» организации, на «низовых» пунктах), *рядовик* (рядовой член), *массовик* — из массы или работающий среди масс. В Словаре Ушакова: «*Массовик.* 1. Агитатор-пропагандист, работающий непосредственно в низовых коллективах, обладающий опытом работы с массами (полит.). 2. Организатор массовых игр и развлечений (нов.)».

Появились и широко распространились слова *курортник, сезонник, физкультурник*; от сокращения *фабзавуч* образованы уменьшительно-шутливые *фабзайчата* и *фабзайчики*; а также *предпосылки* (в значении «условия»), *сознательный, выявить, изжить что-нибудь* и т. п., получившие оттенок и показатель политической (революционной) лексики и фразеологии. Широко известными стали слова *декрет, комиссариат, коллегия, режим, лозунг, диктатура, гегемон* и т. п., многие из которых, по замечанию исследователей, явственно несут на себе отголоски французской революции.

Вместо старого слова *крестины* (имеющего ярко выраженный религиозный смысл) стали употреблять *октябрины, звездины.* Изгоняются слова *инородец* и *инородческий* — как оскорбительные для представителей национальных окраин, бывших царских колоний. На смену им приходят *нацмен* и *нацменовский, нацменьшинский.*

Многие старые названия начали употребляться с прилагательными *красный, советский: Красная Армия, красный командир, советский служащий* или *совслужащий* и т. п. Переименовывались в том же направлении старые географические названия: *Краснококшайск* (бывш. Царевококшайск), *Краснодар* (бывш. Екатеринодар), *Первомайск* (бывш. Ольвиополь), *Советская Гавань* (бывш. Императорская гавань) и т. п. Появились «специальные словосочетания» (Успенский): *домовый комитет, делегатский поезд, громкая читальня* и др.

«Забытые слова,— подчеркивал Селищев,— это важный документ для истории русской революции». Поэтому он обращался к школьным учителям, к работникам культпросветучреждений с призывом и просьбой вести наблюдения за живыми процессами, происходящими в русском языке послеоктябрьской эпохи. Некоторые слова стали историзмами уже в первое послереволюционное десятилетие. Для конца 20-х годов Селищев отмечал: «Длинный ряд слов революционного времени,— слов, вновь образованных или слов прежних, но с новым значением,— успел уже выйти из употребления в связи с изменением или утратой тех предметов или с ликвидацией тех явлений, знаками которых служили эти слова. Уже забыли о „*предложениях*", т. е. о бумажках, которые выдавались учреждениями и организациями с предложениями железной дороге и пароходству выдать билет предъявителю этой бумажки в счет учреждения или организации. Прошло время „мешочников", „денэнаков", „лимонов", „косых" (1000 р.), „комбедноты" и др. Не стало „помгола" (помощи голодающим) и многого другого. Быстрота изменения значения слов и утраты их находится в связи с чрезвычайно быстрым темпом общественной жизни страны».

За многими словами и выражениями возникает живое дыхание времени, романтизм и героика революционных лет, где рядом с неустроенностью быта, нехваткой еды, топлива и другими житейскими трудностями проявляется несгибаемость духа, вера в светлое будущее, прорастающее из настоящего. Новые общественные отношения отразились, например, в словах *ударник* и *ударница, субботник, воскресник.*

Интересна история наименования *времянка* (на скорую руку устроенная в неотапливаемых жилых помещениях печка-малютка). Называлась она по-разному: *печка, моргалка, жестянка* и т. п. Железная переносная печь, хорошо известная в годы гражданской войны, именовалась чаще всего *буржуйкой* (возродилось это слово в период Великой Отечественной войны; см.: Андреева-Васина Н. И.

Слова — свидетели войны.— Русская речь, 1985, № 3). А как появилось само это название? Оказывается, первоначально печка из жести называлась *пролетаркой* — в отличие от кирпичной печурки, которая звалась *времянкой* или *буржуйкой* (такой материал, как кирпич, мог достать далеко не каждый). В годы гражданской войны *буржуйка* стала общим названием металлических печек-времянок. Связано это было с новым осмыслением: жестяная печка «ненасытна», как буржуй, она много «ест» топлива и плохо держит тепло.

К языковым новшествам на фабриках и заводах, то есть в пролетарской (и по преимуществу молодежной) среде, относятся слова и выражения *на все сто процентов, результат* (в значении «ответ»), *сознаться* (стать сознательным), ироническое *чемберленить* (бессмысленно и неактуально рассуждать о «международном моменте» вообще) и т. п. Появились многочисленные «включения» (компрессии) типа *столовка, читалка, раздевалка, сберегалка* (сберегательная касса). Во всех этих образованиях, по замечанию Карцевского, проявляется «фамильярное, но не вульгарное отношение к предметам», см. также *изобразилка* (изоотдел Наркомпроса), «Экономичка» (газета «Экономическая жизнь»). Активизировались некоторые приставочные неологизмы: *опролетаризовать, орабочение* и *орабочивание, оказенить.*

Активные процессы словообразования первых революционных лет связаны с ростом аббревиатур и разного рода сокращений. Это отмечалось всеми исследователями. Селищев говорил даже о «страсти к образованию аббревиатур в крайней форме: *Всеколес, Главнаука, Главсоцвос, цус, цфу* и т. п.». По наблюдениям ученого, эта манера отнюдь не нова: она существовала задолго до революции («телеграфный язык»); много таких сокращений вошло в речь во время первой мировой войны и последующих лет: *главковерх, наштаверх, земгор*, а также названия членов политических партий: *эсэры, эсдэки, кадеты.* Черных и Карцевский отмечают такие сокращения, как *политрук, предком, спец, нарком, губзагс, совдеп, армком.* В связи с введением новой экономической политики появилось и распространилось сокращение *нэп*, образованные от него *нэповец, нэпач, нэпман, нэпачка.* По свидетельству Селищева, слово *нэп* стало употребляться в расширительном значении: «новые буржуазные слои», «спекуляция вообще» и т. п. (см. также: Агафонова Н. П., Ройзензон Л. И. «По Петровке пачками нэпачи с нэпачками...» — Русская речь, 1968, № 5).

В 1919—1920 годах появилось и некоторое время существовало

в общей речи сокращение *шкраб* (школьный работник). Сначала, по данным Селищева, это слово не было обидным, однако «в последние годы кажется обидным учителю-общественнику» (он ссылается на статью в газете «Правда», 1925, № 6). Хорошо известно отношение к этому слову В. И. Ленина, высказанное в разговоре с А. В. Луначарским: «К учителям Ленин тоже относился с большим уважением. Я помню, как однажды я прочел ему по телефону очень тревожную телеграмму, в которой говорилось о тяжелом положении учительства где-то в северо-западных губерниях. Телеграмма кончалась так: „Шкрабы голодают". „Кто? Кто?" — спросил Ленин. „Шкрабы,— отвечал я ему,— это новое обозначение для школьных работников". С величайшим неудовольствием он ответил мне: „А я думал, это какие-нибудь крабы в каком-нибудь аквариуме. Что за безобразие назвать таким отвратительным словом учителя! У него есть почетное название — народный учитель. Оно и должно быть за ним сохранено"» (Луначарский А. В. Один из культурных заветов Ленина).

В статье «Революция и язык», написанной в середине 20-х годов, Селищев отмечал: «В последнее время страсть к словесным сокращениям идет на убыль. Сознается ненужность и даже вред этих словарных ковок». Он ссылается на публикацию газеты «Трудовая копейка», которая в номере от 15 ноября 1923 года сообщала: «Комиссия по усилению борьбы с бюрократизмом, организованная при Московском Совете, на днях закончила свою работу. Одним из результатов этой работы было признание необходимости отмены сокращенных наименований». С осуждением сокращений разных типов и способов выступила газета «Известия» (1923, № 290, статья Ю. Яснопольского «Борьба за язык»).

В общее употребление широко входила запретная и малоизвестная прежде общественно-политическая лексика и фразеология (она как бы «восполняла» естественные лексические «утраты» первых послереволюционных лет). Общенародным достоянием стали в годы революции слова *ассоциация, антанта, агент, агитация, муниципализация, декрет, делегат, комитет, организация, резолюция, центр, республика, пролетариат, интеллигенция, совделегат, реквизировать* (разг. *реквизнуть*) и мн. др.

Сложные общественно-политические отношения, процессы революционной перестройки экономики и психологии нашли отражение в словах *попутчик, сочувствующий, комбеды, середняк, чистка, примазавшиеся, уклон, фракция, актив, смычка, увязка, просчет, план, колдоговоры, ножницы* (в Словаре Ушакова: «*Ножницы*...

2. п е р е н. Расхождение между ценами на сельскохозяйственные и фабрично-заводские товары», с пометой «новое, историческое»), *комчванство* (в Словаре Ушакова: «коммунистическое чванство, высокомерие и зазнайство коммуниста», с пометой «новое» и примечанием: «слово впервые употреблено Лениным»). Такого рода лексика входила в языки народов СССР: слова *делегат, комиссар, рабфак, центр, субботник, партия, автономия, продналог, нарком* становятся известными повсеместно. Появились слова *изжить* и *изживание* (об устранении чего-нибудь), *вентилировать* (обсуждать какой-нибудь вопрос), *проработать* и *проработка* (об изучении, обсуждении чего-нибудь), *молодняк* (молодежь), *стержнизация* («В этом плане отсутствует стержнизация» — нет сосредоточения тематики около одного стержня), *коренизация* («коренизация советского аппарата» — пополнение его за счет коренного населения).

С социолингвистической стороной описываемых явлений связаны изменения в сфере обращений, а также принятых форм вежливости. Массовое речевое общение, отказываясь от традиционных (как «дореволюционных», «буржуазных») элементов речевого этикета, предлагало новые, «революционные». Слово *товарищ* (прежнее значение «сочлен по партии, коммунист») стало официальным обращением; отсюда, кстати, по наблюдениям Карцевского, появилось просторечно-подобострастное *господин товарищ*. *Товарищ*, отмечал Селищев, в первое время революции — это «солдат-революционер», затем — обращение в среде коммунистов (в студенческой и партийной среде было и до революции). На этом фоне приложение *господин* (такой-то) стало употребляться иронически по отношению к политическому противнику. Из языка моряков пришли обращения *браток, братишка, братва* (собират.).

Л. Успенский отмечает новые формы вежливости: *Уважаемый товарищ, С коммунистическим приветом*, приветствие *Да здравствует*. А Селищев пишет: «Весьма широко распространено во всех слоях общества *пока* в значении «до свидания» (вместо *пока до свидания*) и *покедова* (в просторечии)». Карцевский приводит и шутливое *Чик*! (сокращение — по первым буквам слов — выражения «честь имею кланяться»).

Единодушно выделяется новая просторечная форма вежливости *извиняюсь*, которая объясняется польским влиянием (przepraszam). Об этом факте (в ряду других переосмыслений) Карцевский, например, пишет так: «Прежде *я извиняюсь* означало *я прошу простить меня*. Теперь *извиняюсь* — формула вежливости типа *виноват, пардон*. Формула эта многим из нас кажется вульгарной, по всей

вероятности, потому, что распространилась по России внезапно и широко, как поветрие». Интересны и другие суждения о социолингвистических аспектах наблюдаемых явлений, в частности того же Карцевского: «Слово *барышня* прежде в устах прислуги обозначало и обращение к девушке из более высокого круга; теперь — так называют прислугу в кафе и ресторанах. Употреблению и распространению обоих слов (*извиняюсь* и *барышня*) особенно поспособствовали военные, главным образом солдаты и матросы во время революции».

Исследователи отмечают общую эмоциональность «языка революции», имея в виду прежде всего политический словарь общественных деятелей, в котором сложно переплетались элементы военной речи (*авангард, фронт труда, фронт просвещения, командные высоты, генеральная линия, кампания по чему-нибудь, ударность, в ударном порядке, даешь, курс на что-нибудь, бронь*), канцеляризмы, архаизмы и церковнославянизмы, а также эпитеты величественности, колоссальности: *сугубо* и *сугубый, некий, сей, дабы, иже с ним, зиждиться, всуе, вкупе, ибо, во главу угла, в таком разрезе, во что бы то ни стало, сугубое внимание, вопрос ребром, грядет мировая революция.*

Эмоционально-экспрессивная функция речи имела огромное значение в революционные годы — на митингах, собраниях, различных заседаниях и т. п., однако это приводило неминуемо к шаблонизации лозунгов, обилию книжной лексики, а также к политической «трескотне» — к тому, что В. И. Ленин гневно называл «революционной фразой» и с чем неустанно боролся.

Известная демократизация литературных норм (в связи с расширением круга ее носителей), их относительное «снижение» на фоне традиционного нормативного словоупотребления проявляются в различных по характеру и перспективности речевых фактах. Карцевский отмечает, например, перемещение ударения в некоторых словах за последние десятилетия: «...не говорят *буржуа́зия* [старая норма.— *Л. С.*], *демокра́тия,* но *буржуази́я, демократи́я.* Никто не говорит *филоло́г, фоногра́ф,* но *фило́лог, фоно́граф* и даже *доку́мент* (ср. народное *инстру́мент*)». Селищев добавляет к этому ударение *зво́нит* (*по телефону*), которое, по его наблюдениям, пришло в те годы из речи служащих.

Из просторечных форм и образований отмечаются, в частности, *ихний* (вместо *их*), *делов, хужéй, нужон* и др. Широко распространились слова *заграница* и *вечорка* (по наблюдению Селищева, раньше они встречались только в низших слоях жителей

Москвы и Петербурга). Появилось слово *пара* (из немецкого языка через польское посредство). Считавшееся сугубо одесским выражение *пара пустяков* (обычно с добавлением: «как говорят в Одессе») стало употребляться без иронии, как вполне нейтральное.

Калькированием соответствующих немецких выражений, пришедших в русскую речь из публицистического обихода, объяснялось появление таких новообразований, как *в общем и целом, на сегодняшний день, целиком и полностью.* Предлоги *согласно, благодаря, вопреки* употреблялись с родительным падежом зависимых слов, а литературная норма *согласно* — с творительным падежом — практически не встречалась в письменной и устной речи. По замечанию Селищева, «раньше сочетание *согласно* + *родит. падеж* характеризовало канцелярскую речь невысокого ранга канцелярских чиновников, например, военных писарей».

Конструкция *постольку, поскольку..,* которая была очень модной в первые годы Октябрьской революции, к концу 20-х годов превратилась в одно наречие — *постольку-поскольку* (Селищев). Распространилась замена *смочь* на *суметь* (под влиянием нелитературного просторечия) — в значении «иметь возможность, быть в состоянии». «Не знаю, сумею ли [смогу ли] я это сделать». Преодоление «двувидовости» глаголов проявилось в образовании форм *организовывать, использовывать* и т. п. Карцевский отмечает как курьез прилагательное *мальчиковый* на вывеске в Москве в дни нэпа: «Обувь дамская, детская и *мальчиковая*» (сравните, однако, в Словаре Ушакова: «*Ма́льчиковый.* Предназначенный для мальчиков», с пометой «специальное, новое» и примерами: *мальчиковая обувь, мальчиковое пальто*). Примечательны социолингвистические комментарии Л. Успенского к употреблению вариантов *телефонить — телефонировать:* «*Телефонить* — слово, издавна характеризовавшее в глазах петербуржца довоенного периода неправильность московского жаргона (петербуржец *телефонировал*)...»

Факты «снижения» литературной нормы и стиля выражения в целом были связаны с использованием в общей речи «слов языка деревни, фабрики, низших городских слоев» (Селищев): *парень* (молодой человек), *ребята* (молодые люди), *девчата, буза, склока, трепач, учеба, ляпнуть* (сказать), *катиться* (уходить), *глотничать* (кричать на собрании), *пешедралом* (пешком), *ничего* (терпимо), *какая разница*? и т. п. В речи молодежи распространились элементы циничной брани, словечки из «блатной музыки» (жаргона преступников): такие слова и выражения, как *арапа заправлять, вола вертеть* (врать, обманывать), *винта дать* (убежать), *кимарить* (спать). Под влиянием беспризорников слова эти особенно распространились среди подростков и учащихся.

«Фабрично-заводская молодежь,— писал Селищев,— стала считать слова и сочетания воровского жаргона такими чертами, которые отличают ее от интеллигенции. Это — „пролетарский язык". Но такое отношение к „блатной музыке" вызывает в последнее время решительное осуждение со стороны партийных деятелей». Селищев ссылается на статью Ем. Ярославского в «Комсомольской правде» (1925, № 162) и на статью Н. Марковского «За культуру комсомольского языка» в журнале «Молодой большевик» (1926, № 15—16). В этих статьях особо подчеркивалась мысль о том, что борьба за грамотность и культуру для передового слоя рабочих означает на деле овладение русским языком во всем его богатстве, во всей его гибкости и тонкости.

В работах ученых-лингвистов 20-х годов ставились и самые общие вопросы, связанные с влиянием революции на язык, на процессы развития русского языка в послереволюционную эпоху. «Такое социальное явление, как революция и революционные мероприятия,— подчеркивал Селищев,— должно было отразиться сильно на разных сторонах языковой жизни общества». При этом языковых (в первую очередь — словарных) новшеств за предельно короткий срок накопилось так много, что некоторые исследователи говорили даже о «революции в языке». Возражая против этих крайних суждений, к тому же никак не подкрепленных материалом, Карцевский писал: «Серьезно говорить о „революции" в русском языке не приходится, ибо все процессы, наблюдающиеся в русском языке, являются обычными, нормальными языковыми процессами, но с ускоренным темпом». Именно этим ускорением темпа языкового развития объясняет он возникающее ложное представление о «языковой революции», к которой «говорящие относятся по-разному, но которую все замечают и на которую все реагируют».

Об усилении темпа языкового развития (причем не только в области словаря, но и в фонетике, морфологии, синтаксисе) в послереволюционный период писал и Е. Д. Поливанов. Причины этого он видел в коренном изменении состава носителей литературного языка, «бывшего до сих пор классовым или кастовым языком узкого круга интеллигенции эпохи царизма, а ныне становящегося языком широчайших — и в территориальном, и в классовом, и в национальном смысле — масс, приобщающихся к советской культуре». Ученый справедливо полагал, что значительные преобразования русского литературного языка (в фонетическом, морфологическом и других отношениях) под влиянием революционных общественных перемен следует ожидать лишь через два-три поколе-

ния. Для периода собственно революционных лет «рано еще говорить о коллективных новшествах в нашем языке, за исключением области словаря и фразеологии».

В самом деле. Приведенный в обзоре материал опирается в целом на лексико-фразеологические особенности русского языка первых послереволюционных лет. Он отражает как историзмы революционной эпохи, некоторые стилевые особенности тех бурных лет, факты временного «снижения» традиционного словоупотребления в речи молодых поколений, так и глубинные процессы объективной демократизации литературных норм. Это происходило в соответствии с общими тенденциями языкового развития в новых, социально обновленных и коренным образом преображенных условиях жизни народа. Советское социалистическое государство с первых дней существования ставило вопросы языковой культуры, образования широких народных масс среди важнейших проблем духовного преобразования общества.

Публицистическое мастерство Ф. Э. Дзержинского

Н. Н. Кохтев,
кандидат филологических наук

Вся жизнь Ф. Э. Дзержинского (1877—1926) была связана с рабочим движением. Восемнадцатилетним юношей, в 1895 году, он вступил в организацию литовской социал-демократии в г. Вильно. Затем началась профессиональная революционная деятельность: пропаганда марксистской литературы, беседы в многочисленных рабочих кружках, корреспонденции о жесточайших условиях труда на частных предприятиях, участие в демонстрациях, выступления на митингах. Софья Сигизмундовна — жена Ф. Э. Дзержинского — вспоминала, как впервые услышала выступление Феликса Эдмундовича на одной из партийных конференций. Ей показалось даже, что он неважный оратор: начал говорить медленно, с некоторым трудом. Но потом вдруг загорелся, стал говорить ярко, убедительно, как настоящий народный трибун...

Шесть раз Ф. Э. Дзержинский подвергался аресту, три раза бежал из ссылки и вновь занимался революционной деятельностью, два раза был приговорен к каторжным работам. Одиннадцать лет в общей сложности провел в тюрьме, на каторге, в ссылке. В 1908—1909 годах, находясь в Варшавской цитадели, Ф. Э. Дзержинский вел дневник и с большим трудом вынес его из тюрьмы. Это произведение огромной обличительной силы, оказавшее глубокое влияние на современников: дневник был опубликован в 1909—1910 годах в нелегальном органе «Социал-демократическое обозрение».

В этом историческом документе с реальными жизненными деталями и философским обобщением содержатся глубокие пережи-

вания автора за судьбы людей. Вот что он рассказывает о 18-летней работнице, заключенной в тюрьму: «...начинаешь рассуждать: „Ее ли вина, что ее, еще ребенка, заперли здесь, когда ей следовало еще оставаться под опекой матери, когда ей еще впору играть, как играют дети". А может быть, у нее нет матери и она вынуждена бороться за кусок хлеба? Работница же она. Этот ужасный строй заставил ее принять деятельное участие в революции. А теперь мстят ей за это. А сколько таких, с детства обреченных на жалкое, нечеловеческое существование?» (Дзержинский Ф. Э. Избранные произведения в двух томах. Т. 1. М., 1967). В дневнике раскрываются образы бесстрашных революционеров, мужественных борцов за освобождение трудящихся от царского гнета.

В августе 1916 года из тюремной больницы Ф. Э. Дзержинский писал: «Я весь сросся не только со своими мыслями, но с массами, и вместе с ними я должен пережить всю борьбу, муки и надежды. Я не жил никогда с закрытыми глазами, устремленными только в свою мысль. Я никогда не был идеалистом. Я познавал сердца человеческие, и мне казалось, что я чувствую каждый удар этих сердец... Я жил, чтобы до конца выполнить свое назначение и быть собой... И хотя я не знаю, что меня ожидает.., но мысль моя все время рисует образы будущего, которым все увенчается. Я оптимист...» (Феликс Дзержинский. Дневник заключенного. Письма. М., 1984). Этот оптимизм, вера в будущее помогли Ф. Э. Дзержинскому выстоять в грозные годы революции. Из Бутырской тюрьмы в Москве он был освобожден 1 (14) марта 1917 года и сразу же включился в революционную борьбу.

С первых же дней революции Ф. Э. Дзержинский начал активную работу в московской большевистской организации. Ф. Э. Дзержинский для многих прежде всего «грозный щит революции». И это так. Нам рисуется облик сурового, непоколебимого человека, стоящего на страже молодой Советской республики. Однако за этой суровостью и непреклонностью скрывалась огромная любовь к людям, о чем свидетельствует, например, его эпистолярное наследие.

Феликс Эдмундович был свидетелем и активным участником грандиозных исторических перемен. Рост освободительного движения, реакция, революционная борьба, свержение самодержавия, строительство новой жизни и новой культуры — таковы главные из этих событий. И письма Ф. Э. Дзержинского к родным — это исповедь Человека и Революционера (они охватывают более четверти века — с января 1898-го по май 1926 года). Из Варшавской цитадели Ф. Э. Дзержинский пишет своей сестре, А. Э. Булгак, в июне 1913 года:

«Человеческая душа, как цветок, бессознательно поглощает лучи солнца и вечно тоскует по нем, по его свету; она увядает и коверкается, когда зло заслоняет его свет. В этом стремлении каждой человеческой души к солнечному свету и зиждется наша бодрость, вера в лучшее будущее человечества, и поэтому никогда не должно быть безнадежности... Злым гением человечества стало лицемерие: на словах любовь, а в жизни — беспощадная борьба за существование, за достижение так называемого „счастья", карьеры... Быть светлым лучом для других, самому излучать свет — вот высшее счастье для человека, какою он только может достигнуть». Какие здесь речевые краски: и сравнения, и метафоры, и олицетворения, и смысловой параллелизм, и повтор ключевого слова, и эпитеты... Это миниатюрная художественная философская зарисовка.

Самая, пожалуй, яркая черта Ф. Э. Дзержинского — горячая любовь к детям. Он видел в них надежду, будущее нашей страны. После первой мировой и гражданской войн много детей осталось без родителей. Ф. Э. Дзержинский активно включился в работу по оказанию помощи сиротам и беспризорным. По решению Президиума ВЦИК в январе 1921 года он был назначен председателем комиссии по улучшению жизни детей. Детской комиссией была проделана огромная работа. В течение нескольких лет беспризорность детей в стране была ликвидирована. Забота о детях стала делом всех трудящихся. За подписью Ф. Э. Дзержинского было опубликовано обращение комиссии ВЦИК по улучшению жизни детей. И хотя это официальный документ, он глубоко эмоционален. Здесь и яркие характеристики детской беспризорности, которая выявляется «в самых уродливых, ужасающих формах», и объективная оценка существующего положения с детскими учреждениями, которые «не в силах вместить всей армии беспризорных детей, для открытия же новых не хватает средств», и горячий призыв прийти на помощь гибнущим детям, не стесняться «ни формой, ни размером вашей помощи». Слова искренние, идущие от сердца. И обращение заканчивается словами: «Все на помощь детям!» (Дзержинский Ф. Э. Избранные произведения. Т. 1). В ответ на это обращение в стране был организован сбор средств для детей, строились детские дома, трудовые коммуны. Сотни писем с благодарностью, фотографиями и рисунками приходили от детей Феликсу Эдмундовичу.

И не случайно детская коммуна в пригороде Харькова, которой руководил замечательный деятель советской педагогики А. С. Макаренко, была названа именем Дзержинского.

Речи, доклады, приветствия, статьи, деловые бумаги, которые готовил Ф. Э. Дзержинский,— настоящие образцы логичного, яркого, понятного изложения сложных политических и экономических проблем. Каждое его выступление носило печать индивидуальности, личности и сильно воздействовало на массы. Ф. Э. Дзержинский писал и говорил о преодолении ведомственности, режиме экономии, повышении производительности труда, рабочем изобретательстве, реконструкции промышленности, научно-техническом прогрессе, улучшении работы госаппарата, четкой работе транспорта и многом, многом другом. Многие идеи, высказанные им в то время, глубоко актуальны и воплощаются сегодня на новом техническом и социальном уровне.

Публичные выступления Феликса Эдмундовича — это яркая полемика и непосредственная беседа с аудиторией. Он строит речи просто, логично и доходчиво, но в то же время ставит вопросы остро, по-деловому. Такова, к примеру, его речь на Пленуме ЦК РКП(б) 16 августа 1924 года: «Здесь необходимо отметить еще один момент, который не учитывается многими хозяйственниками и профессионалистами при определении высоты производительности труда... А по нашим подсчетам выходит, чем больше мы в воздух пускаем, тем больше у нас продукции, тем бóльшая производительность. Мы вот эту всю расточительность не принимаем во внимание и не учитываем, и очень часто наша нефтяная промышленность, угольная, металлургическая и другие работают не на полезные предметы и изделия, а работают на то, чтобы другие пускали потом эту добычу в воздух. [*Голос с места.* «При чем же тут производительность?»]. Если вы возьмете и сожжете дом, то что это будет, производительность или уничтожение ее? (*Смех*). Если вы для того, чтобы произвести предмет, уничтожаете зря другие предметы, то вы этим сокращаете общую производительность? Если вы этого не понимаете, то экономика страны понимает это своим горбом...» (Дзержинский Ф. Э. Избранные произведения. Т. 2).

Здесь открытая полемичность с элементами диалога, аргументации и опровержения. Оратор использует иронию для доказательства своей правоты. Непосредственное обращение к аудитории способствовало созданию контакта со слушателями, усилению интереса к теме.

Речи Ф. Э. Дзержинского были глубоко оценочны. У него нет ни одного выступления, в котором не содержалось бы эмоциональной оценки событий, процессов, людей, явлений. Например, в докладе на совещании руководителей московской печати 16 апреля 1926 года «Борьба за режим экономии и печать» он, в частности, сказал: «Вскрывать действительные болячки, показать, откуда идет

гниение, где надо объявить войну элементам, облепившим весь наш госаппарат,— наша печать часто не умеет, не проявляет достаточной энергии.

Один из основных элементов, порождающих подобные явления, заключается в том, что наш государственный аппарат построен бюрократически. Пойдете ли вы в кооператив или на фабрику, всюду вы увидите, что там сидит чиновник, а не строитель социализма. А между тем, за годы революции из нашей коммунистической среды и из среды специалистов и беспартийных создались кадры преданных людей, которые желают строить социализм... Целый ряд отдельных инженеров, отдельных беспартийных работников рвутся к новому творчеству. Они теперь понимают, какие громадные перспективы стоят перед нашим хозяйственным развитием...» (т. 2).

Оценочность создается здесь словами с переносным значением, несущими отрицательную эмоционально-экспрессивную окраску (*болячки, гниение, облепившим, чиновник*). Изложение ведется в форме самостоятельных параллельных высказываний: явление отрицательное (*бюрократизм*) — явление положительное (*новые, творческие люди*). Этот прием не только помогает донести до слушателей непосредственную информацию, но и создает дополнительные смысловые оттенки, которые позволяют сделать необходимые выводы.

В речи на совещании ответственных работников ВСНХ СССР в июле 1926 года «На борьбу с болезнями управленческого аппарата» Ф. Э. Дзержинский умело и эффективно прибегает к повторению. Он высказывает одно и то же положение в разных планах, в разном языковом оформлении, неоднократно повторяя одну и ту же основную мысль, варьируя ее, добиваясь максимального внимания к ней, добавляя различную информацию: «Условия нашей внутренней и внешней ситуации требуют от нас довести работу нашего аппарата до максимальной четкости, до максимально быстрого темпа. Необходима полная четкость и ясность в ответственности, необходимо знание аппарата. Наши средства и энергия наших аппаратов не должны растрачиваться беспланово...» (Избранные произведения. Т. 2). Основная мысль — работа управленческого аппарата должна быть четкой, быстрой, ясной — варьируется во всех трех предложениях. А затем уже она детализируется и развивается в дальнейшем изложении. Такой метод повтора характерен для стиля изложения Ф. Э. Дзержинского.

Творческое наследие Ф. Э. Дзержинского чрезвычайно интересно для изучения не только истории нашей страны, но и пропагандистского мастерства. Стилистический и содержательный анализ его произведений — важный путь овладения тайнами этого мастерства.

Святослав Рерих — читателям «Русской речи»

По приглашению Академии художеств СССР в Москве в мае этого года находился выдающийся общественный деятель, живописец Святослав Николаевич Рерих.

Семья Рерихов — известный во всем мире своими традициями очаг культуры в глубине Гималаев. Святослав Николаевич, человек разносторонних дарований и интересов, как и его отец, Николай Константинович Рерих, является неутомимым пропагандистом русской и советской культуры в Индии, проявляет живой интерес к современной советской литературе, русскому языку.

Во время пребывания С. Н. Рериха в Москве состоялась встреча с ним главного редактора журнала «Русская речь» профессора В. В. Иванова. Разговор шел о литературе и языке, вопросах культуры и наиболее жизненно важных проблемах.

— ...Святослав Николаевич, не скрою, в разговоре с Вами поражает Ваш русский язык. Удивительно, что живя в англоязычной среде, Вы великолепно владеете его красками и говорите так, будто никогда не уезжали из России. Как Вам это удается?

— Русский язык всегда сохранялся в нашей семье. Он был свято чтим и моим отцом, Николаем Константиновичем, и моей матерью, Еленой Ивановной. Со мной замечательные книги русских классиков, которые собирал еще мой отец и которые я постоянно перечитываю.

Я знаю много языков, но они зачастую не позволяют выразить тех тонкостей, которые можно определить словами только по-русски. Русский язык — редчайший способ коммуникации, уникальнейший язык, и мы должны заботиться о нем. Мы обязаны удержать и поддержать в русском языке то, что в нем накоплено. А в нем — много прекрасного! И это надо сохранять.

— А как Вы воспринимаете современный язык? Многих людей в среднем и пожилом возрасте коробят иностранные заимствования, жаргонизированная речь молодежи, появление новых слов, которые «режут слух». Как Вы относитесь ко всему этому?

— Видите ли, перечисленные Вами явления характерны в нынешнее время для всех языков. Все они захлестнуты сленгами-жаргонами. И это, конечно, вызывает беспокойство.

Как с этим бороться? Думаю, что — красотой и добротой. Всему дурному и уродливому всегда надо противопоставлять доброе и красивое. Еще древние греки утверждали, что красивые образы рождают красивые мысли, а красивые мысли — красивые поступки.

Что касается так называемого «осовременивания» языка, то я к этому отношусь спокойно. Ведь жизнь не стоит на месте. В ней постоянно возникает много нового. Язык должен за всем этим поспевать, и совершенно естественно, что в нем появляются новые слова и выражения, которые более подходящим образом могут назвать и определить новые явления или понятия.

— Святослав Николаевич, Вы сказали о том, что всегда с Вами русская классика. А удается ли Вам знакомиться с произведениями нынешних наших писателей? Каковы Ваши впечатления от современной литературы?

— Я с большим интересом слежу за сегодняшней литературой. С одной стороны, она отражает все то важное и интересное, что происходит в нашей жизни. С другой стороны, в руках писателей великая сила — преобразующая сила слова и образа, которая не может не воздействовать на современность. На нас, художниках кисти и слова, лежит груз ответственности за судьбы будущих поколений. Мы стремимся изменить нашу жизнь к лучшему. И хотим эту лучшую жизнь видеть вокруг себя уже сегодня. Но для этого надо много трудиться, делать сегодня больше, чем вчера — и тогда каждый день будет для нас днем победы.

Одним словом, жизнь сдвинулась с места и требует новых решений. Многие такие решения могут дать писатели. Поэтому их творчество сейчас так важно.

— Мы знаем, что в Индии растет интерес к Советской стране, к изучению русского языка, укрепляются культурные, научные связи между нашими странами. Каково Ваше участие в этом процессе?

— Интерес, дружелюбие индусов к русским традиционны, сохраняются и поныне. О том, что этот интерес растет, могу судить по тому количеству желающих встретиться или вступить в переписку со мной как с представителем великого русского народа. В Дели при Университете имени Дж. Неру уже 20 лет успешно работает Центр русских исследований. Он готовит преподавателей русского языка. Обучение русскому языку осуществляется и в других вузах страны. Но мне кажется, что специалистов в области преподавания русского языка все же еще недостаточно в Индии.

Я считаю, что в таком деле, как преподавание иностранного

языка, очень важна личность учителя. Если это человек увлеченный, темпераментный, то он с бóльшим успехом сможет передать любовь к языку и стране своим ученикам, заинтересовать и повести за собой большее количество людей.

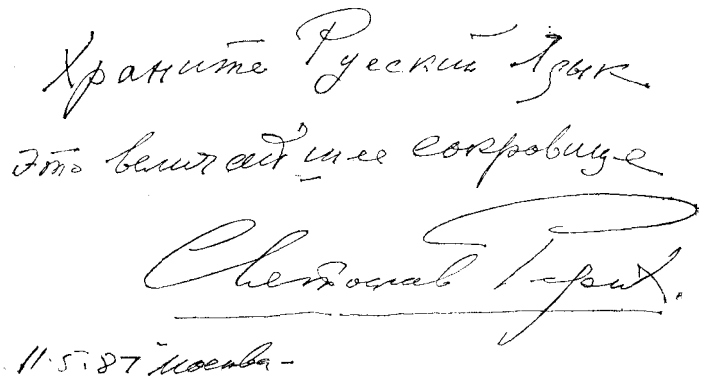
— А как в Индии готовятся к фестивалю в Советском Союзе?

— Мне приходится принимать деятельное участие в подготовке программы этого фестиваля. Ко мне обращаются за советами, рекомендациями. Я считаю, что искусство Индии должно быть представлено в Советском Союзе всеми жанрами и быть рассчитано как на любителей, так и на самые широкие массы.

— Святослав Николаевич, еще один, «буквоедский», вопрос: Вы употребили слово *индусы*, говоря о жителях Индии. Сознательно? Или все же — *индийцы*? Дело в том, что русский современный литературный язык рекомендует: *индийцы*, так как считается, что *индусы* — это прежде всего последователи индуизма. Но не все специалисты по русскому языку согласны с этой формой. Многие все же отдают предпочтение старой — *индусы*.

— Я как-то не очень задумывался над этим. По мне — лишь бы было понятно, о чем или о ком идет речь. Лично я жителя Индии называю *индусом*. Это название более распространено в самой Индии и в мире от Hindu (англ.— индус), Hindian — *индиец* почти не употребляется.

— Святослав Николаевич, Ваш авторитет художника, мыслителя, деятеля культуры необычайно высок у советских людей. Что бы Вы пожелали читателям журнала «Русская речь» — любителям русского языка?



Беседу записала Н. А. Ревенская, ответственный секретарь журнала «Русская речь»

„Будущее не придет само..."

В. П. Николаева,
кандидат филологических наук

Гражданская поэзия Владимира Маяковского — это боль и смех великого поэта, язвительная сатира и пафос созидания. Его творчество удивительно созвучно и близко всему, о чем говорилось на XXVII партийном съезде. Огромные перемены, которыми буквально живет и дышит сегодня наша страна, невозможны без неустанной и бескомпромиссной борьбы с застойными, негативными явлениями, мешающими продвижению общества вперед,— борьбы с бюрократизмом, очковтирательством, пьянством, бездуховностью, стереотипностью мышления и т. д. В этой непримиримой схватке атакующая поэзия Маяковского — наш верный союзник. Его стихи, адресованные массовому читателю, утверждают и наше сегодняшнее понимание активной гражданской позиции, нового революционного мышления. Именно поэтому представляется небезынтересным обратиться к произведениям поэта, чтобы понять и осмыслить некоторые его приемы смыслового и эмоционального воздействия на читателя и слушателя.

Эстетический эффект от художественного произведения тем выше, чем более совершенно оно организовано. Для понимания законов построения, в частности, стихотворного текста, важно выявить различные связи составляющих его элементов в их отношении к идейно-художественному замыслу произведения. Лингвистами установлено, что в художественных текстах есть своеобразные опорные точки — «сильные позиции», которые необходимы как для изображения содержания, так и для наилучшего уяснения его читателем. Такими «сильными позициями» считают заглавие, начало, конец произведения, а также некоторые другие композиционные элементы.

Заголовок в стихотворении обозначает общую тему, предмет разговора поэта с читателем. Он как бы предваряет содержание, но его окончательное осмысление происходит лишь после прочтения всего произведения. Концовка же — это обычно последняя его строфа (если есть разбивка на строфы) или часть строфы, то есть строчки, заключающие в себе наиболее важный, глубинный смысл, ради которого и было написано стихотворение.

Конечно, стихотворное произведение — это единый организм, где все взаимообусловлено. И «сильные позиции» находятся во

взаимосвязи со всем строем стихотворения, с разработкой темы, сюжета, раскрытием главной мысли. Однако нас интересует прежде всего связь заглавия и концовки, которая обнаруживает у Маяковского тесное структурно-смысловое единство. Достигается это с помощью лексических повторов так называемых опорных, или «ключевых», слов.

Такие опорные слова, являющиеся у Маяковского важным смысловым и художественным средством и наиболее часто встречающиеся в его гражданской поэзии, можно выделить в следующие основные группы:

слова, тематически связанные с названиями политических течений, партий: *коммунизм, социализм, капитализм, партия, комсомол, левый* и др.;

слова, отражающие новые социально-политические отношения: *республика Советов, гражданин, товарищ, Советы, советский* и др.;

слова, выражающие оптимизм поэта, его активное приятие новой действительности: *радость, труд, марш, грядущее, лозунг, борьба, гимн, жизнь, жить, ринуться, человечный* и др.;

слова, связанные с поэзией, с ее ролью в жизни: *поэт, писатель, стихотворец, сатирик, газета, искусство, стих* и др.;

слова, клеймящие все, что мешает развиваться молодой республике: *мещанство, дрянь, халтура, обыватель, подхалим, ханжа, бюрократ, буржуй, подлиза, опиум, классовый враг* и др.;

слова, выражающие активность авторской позиции, желание поэта переделать жизнь: *вперед, долой, довольно, надо, нельзя, нужно*, а также глаголы типа: *верю, знаю, хочу, ненавижу, обожаю, да здравствует.*

Часто эти слова занимают в тексте самое «выгодное» место, являясь либо заглавием стихотворения, либо входя в состав его концовки. Находясь в «сильных позициях», они приобретают расширительное, метафорическое значение, способствуя более полной реализации авторского замысла. Вот лишь некоторые заголовки, в состав которых входят опорные слова: «Наш *марш*», «*Протестую*», «*Левый марш*», «Молодая *гвардия*», «Лицо *классового врага*», «*Помпадур*», «О *дряни*», «*Призыв*», «*Марш ударных бригад*», «*Стихи о советском* паспорте».

Многие из опорных слов заключают собой стихотворения, а при разбивке текста «лесенкой» поэт даже графически выделяет их в самостоятельную строку, что придает им особую значимость.

Вспомним известное стихотворение «Рассказ о Кузнецкстрое» (1929), где автор описывает мужество строителей, которые своими делами опровергали представление о человеке как о бездумном «винтике» государственного механизма. Наверное, сегодня мы бы

сказали, что здесь раскрывается подлинное значение человеческого фактора. Стихотворение заканчивается строками, наполненными уверенностью: «Я знаю — / город / будет, / я знаю — / саду / цвесть, / когда / такие люди / в стране / в советской / *есть*!» (здесь и далее в стихотворных примерах курсив наш.— *В. Н.*). Это финальное *есть* звучит гордо и оптимистично: такие люди обязательно построят город-сад, о котором мечтают.

В стихотворении «Комсомольская» (1924) автор с непреклонной силой выражает убежденность в бессмертии ленинского дела. Стихотворение заканчивается рефреном, который несколько раз повторен в тексте. Конечная строка этого рефрена и является основным носителем мысли: «Ленин — / *будет жить*!»

Оптимистический финал стихотворения «Юбилейное» (1924), ставший афоризмом, строится на контрастных сопоставлениях опорных слов, обладающих яркой экспрессией: «*Ненавижу* / всяческую *мертвечину*! / *Обожаю* / всяческую *жизнь*!»

В стихотворении, названном — «Выволакивайте будущее!» (1925), поэт снова как бы предстает нашим современником, непримиримым борцом против всего, что мешает движению вперед: «Будущее / не придет само, / если / не примем мер». Концовка произведения словно обращена к сегодняшним комсомольцам: «Наших дней / залежалых одёжу / перетряхни, *комсомолия*!». Последнее слово в строке — собирательное существительное *комсомолия* — приобретает расширительное значение: это призыв ко всей молодежи, которая должна приближать будущее, бороться за него.

Иногда у Маяковского заключительное слово в концовке стихотворения полностью или частично совпадает с заглавием. Образуется повтор наиболее важных по смыслу «ключевых» слов, оказавшихся как бы в двойной «сильной позиции». Такой поэтический прием заставляет читателя глубже осмыслить содержание стихотворения, сильнее почувствовать авторское отношение к изображаемому, а также оценить точность и экспрессию самого заголовка.

В стихотворении «Левый марш» (1918) слово *левой*, трижды повторенное в концовке, стало боевым символом принятия революции, принятия новой жизни.

Сатирический смысл выразительного названия «Прозаседавшиеся» (1922) подчеркивается и заостренно эмоциональной концовкой, где однокоренное слово *заседание* уже имеет иную экспрессивно-стилистическую окраску: «О, хотя бы / еще / одно заседание / относительно искоренения всех *заседаний*!»

Эта «перекличка» концовки и заглавия в сатирических стихах Маяковского встречается особенно часто, указывая читателю точный адрес именно того явления, которое автор разоблачает. Темы

многих сатирических произведений, написанных в 1926—1928 годах, поэт брал из жизни, из писем и заметок трудящихся, и названия у этих стихов краткие и хлесткие: «Трус», «Помпадур», «Плюшкин», «Столп», «Ханжа» и др.

С каким едким сарказмом рисует поэт портрет подлизы, всячески восхваляющего ради карьеры начальство! Стихотворение так и озаглавлено — «Подлиза» (1928), но, описывая «этот сорт людей», поэт ни разу не называет их настоящими именами. Жалящее слово вынесено в самый конец заключительной строки, где особенно ощущается его экспрессивность: «(...)сместь бы / всех, / кто поддались, всех, / радеющих подлизам, / всех / радетельских / *подлиз*».

Сходное явление обнаруживается в стихотворении «Лицо классового врага» (1928), где нарисован портрет буржуя. Заканчивается оно призывом-напоминанием: «Товарищи, / помните: / между нами / орудует / *классовый враг*». Такое же повторение в концовке слова-заглавия находим у Маяковского в стихотворениях «Беспризорщина», «Ханжа», «Фабриканты оптимистов», «Неразбериха», «Общее» и «Мое», «Помпадур», «Комсомольская правда», «Товарищу Нетте — пароходу и человеку» и в др.

Из заглавия «Два опиума» (1929) поначалу неясно, о чем будет идти речь. Поэт ратует за здоровый отдых рабочих, которых раньше, при царе, по праздникам одурманивали вином да молебном. Но когда в концовке повторяются слова из заглавия, авторская мысль предстает предельно четко выраженной: «Долой / из жизни / *два опиума* — / *бога* / и *алкоголь*!». Как видим, и в этом стихотворении поэт выступает как наш сегодняшний активный союзник — в борьбе с «зеленым змием».

Итак, используя лексический повтор опорных, «ключевых», слов и включая многие из них в состав взаимосвязанных «сильных позиций» текста — в заглавия и концовки, Маяковский достигает композиционной целостности своих стихотворений и наиболее полного выявления их основной идеи. Кроме того, при таком построении стихотворного произведения опорные слова приобретают бóльшую социальную и художественную значимость, что важно для выражения активной авторской позиции, для выявления идеологической направленности его творческих устремлений.

Даль и Пушкин

В. И. Порудоминский

Александр Пушкин родился в 1799-м, Владимир Даль — в 1801-м. Одно поколение.

«Мы были дети 1812 года» — знаменитые, ставшие определением, слова декабриста М. И. Муравьева-Апостола. Матвей Иванович Муравьев-Апостол на шесть лет старше Пушкина, его брат, Сергей, казненный с другими руководителями восстания,— на три года. Мысли и чувства, пробужденные Отечественной войной, создают натуру, личность человека пушкинского поколения.

«Душой восторженной за братьями спешил»,— пишет лицеист Пушкин о 1812 годе (Пушкин. Полн. собр. соч. Т. I. М.— Л., 1937, с. 146; далее — только том и страница). В жизни Пушкина, до последнего его дня, будет отзываться былым и думами «время незабвенное, время славы и восторга» (VIII, 83). Согласно семейному преданию, военные события сильно воодушевляли и отрока Владимира Даля. И в его жизни, в деяниях его не минет бесследно «славное и памятное (...) время, (...) этот двенадцатый год» (Даль В. И. Полн. собр. соч. в 10 томах. Т. VI. СПб.— М., 1897, с. 40; далее — только ВД, том и страница). Отзвуки Отечественной войны находим в «Толковом словаре» — в выборе слов, в толкованиях, в примерах; но речь не о частностях — о судьбе.

Будущий декабрист Николай Тургенев пишет, подводя итог войны: «Ныне, когда дух времени (...) пролетел несколько столетий, ныне нравственные потребности наших соотечественников получили иное свойство...» (Декабристы. Поэзия. Драматургия. Проза. Публицистика. Литературная критика. М.—Л., 1951, с. VII).

«Имя Отечества нашего сияет славою немерцающею, а язык его безмолвствует! (...) Мы русские, а говорим не по-русски!..» — сетует Федор Глинка, будущий член Союза Благоденствия (там же, с. 324). И призывает чаще обращаться к летописям, народным преданиям, старинным песням, вслушиваться в местные речения. Заговорить по-русски — тоже нравственная потребность лучших соотечественников. «Новое поколение людей начинает чувствовать прелесть языка родного и в себе силу образовать его»,— надеется Александр Бестужев (там же, с. 543).

Пушкин и его сверстники принимают от «старших братьев» и эту нравственную потребность.

Пушкин не только воплощает ее в поэзии: в силу своей гениальности, к тому же смолоду участник литературной борьбы, он уже в юные годы ко всему, что касается языка, относится осознанно; для него это предмет глубоких размышлений.

Для Даля интерес к языку народа, составивший затем смысл, труд и итог его жизни, поначалу более безотчетен: не раздумье, а побужденье — общественная потребность воспринимается как личная.

В «Напутном слове» к «Толковому словарю» он рассказывает, что с той поры, как себя помнит, его «тревожила и смущала несообразность письменного языка нашего с устною речью простого русского человека» (Даль Владимир. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1. М., 1955, с. XV; далее — ТС, том и страница). Обратим внимание на эти — «тревожила», «смущала»...

Легенда связывает начало «Толкового словаря живого великорусского языка» со словом *замолаживать* — мичман Даль, только что выпущенный из петербургского Морского кадетского корпуса и спешащий для прохождения службы в Николаев, на Черноморский флот, записывает неслыханное прежде речение в марте 1819 года неподалеку от Новгорода, у Зимогорского Яма. Словцо произносит ямщик, утешая продрогшего седока.

П. И. Мельников-Печерский, первый (и не всегда точный) биограф Даля, приводит строки из его записной книжки: «Замолаживать — иначе пасмурнеть — в Новгородской губернии значит заволакиваться тучками, говоря о небе, клониться к ненастью» (ВД, I, XVII). В Словаре, однако, после *замолаживать* помета *нвг* (новгородское) почему-то отсутствует,— слово значится *орл, тул* и *вост*, то есть орловским, тульским и имеющим хождение в восточных губерниях. Более того: «метеорологическое» значение слова *замолаживать* в Словаре вообще дано как второстепенное; главное же значение — *замолаживать* пиво, мед, приводить в винное броженье хмелем, навеселить» (ТС, 1, 604).

Сам Даль в неоконченной автобиографической заметке про легендарное слово не упоминает, но указывает: «На этой первой поездке моей по Руси я положил бессознательно основание к моему словарю, записывая каждое слово, которое дотоле не слышал» (ВД, I, XCV).

В 30-е годы Даль пишет повесть «Мичман Поцелуев» — в ней, среди многих автобиографических подробностей, есть и такая: еще в годы учения мичман записывал неизвестные ему прежде слова. Даль приводит «список новых слов, принятых и понятных в мор-

ском корпусе». Мельников-Печерский в первой биографии Даля цитирует это место из повести — и тут же дает сноску: «Затем следует 34 слова кадетского жаргона, перечисленные во время сочинения повести не по записи, а по памяти, как сказывал Владимир Иванович. *Записи начинаются с Зимогорского Яма, в марте* 1819 года (...)» (ВД, I, IX). Но вот оказия — 27 из 34 приведенных по памяти слов окажутся годы спустя в «Толковом словаре», причем ни одно из них не будет обозначено как жаргонное или приведено в качестве такового.

Не имеем ни возможности, ни охоты разрушать легенду, быть может, не без участия самого Владимира Ивановича возникшую, но вот что очевидно: многие из слов (а были еще «и прочие, и прочие», как значится в конце приведенного Далем списка), которые в 30-е годы представляются герою повести, мичману Поцелуеву, и, видимо, самому автору, не более как кадетским жаргоном, со временем, по мере спознания его с языком народа, обнаружат себя либо как весьма широко принятые, либо как местные речения. Даль уже и в повести по поводу одного из таких слов делает примечание, характерное для будущего составителя Словаря: «*Огуряться* вошло в корпусе в употребление от новгородцев, поступавших туда прежде в большом числе. Мы встречаем слово это также у Посошкова (новгородца); оно означает: отделываться от обязанности своей, не исполнять ея, не быть налицо, где должно» (ВД, II, 383).

Поездка по Руси, положившая основание Словарю, должно быть, тем дорога́, что здесь желание записывать слова, которых «дотоле не слышал», совпадает с желанием постигнуть «устную речь простого русского человека», несообразность которой с языком письменным с малолетства тревожила и смущала. Запомним только, что основание Словарю положено было — «бессознательно».

Рассказывая о своей работе, Даль непременно разделяет хронологически побуждение записывать, собирать слова и замысел Словаря. Вот и в «Напутном слове» (о себе — в третьем лице): «Жадно хватая на лету родные речи, слова и обороты (...) этот записывал их без всякой иной цели и намеренья, как для памяти, для изучения языка, потому что они ему нравились» (ТС, 1, XVI). Тут же Даль сообщает, что со временем его запасы очень выросли и «при бродячей жизни стали угрожать требованьем особой для себя подводы», что на фронте русско-турецкой войны 1828—1829 годов, в которой участвовал, он завел для своих записок вьючного верблюда, что, когда, наконец, появился случай разобрать их, у него собралось «десятка два кип в лист, относящихся до языка, пословиц, слов и оборотов речи»: «Что с ними делать?»

Это «Что с ними делать?» очень важно при осмыслении роли Пушкина в Далевых трудах.

«За словарь свой Даль принялся по настоянию Пушкина»,— записывает со слов самого Даля издатель «Русского архива» П. И. Бартенев (Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым. М., 1925, с. 21; далее — Бартенев). В Далевом Словаре находим толкование: «НАСТАИВАТЬ, *настоять* ⟨...⟩ // *на чем,* усиленно просить, домогаться чего, требовать неотступно, приказывать и наблюдать за исполненьем» (ТС, II, 474).

Повод для знакомства с Пушкиным — книга сочиненных Далем, или, как сам он представляет их читателю, «из предания народного изустного на грамоту гражданскую переложенных» русских сказок. Сказок — пять (подзаголовок — «Пяток первый»), три из них весьма острого содержания — современники Даля, выступившего под псевдонимом, который долго будет известен всей читающей России,— Казак Луганский, очень удивлены, что сказки пропущены цензурой. Книга навлекает на себя обвинения в политическом умысле, ее запрещают, дело доходит до царя, но автора нежданно милуют — благодаря произведенному сказками шуму имя его делается известным (подробнее см. в кн.: Порудоминский В. Даль. М., 1971, с. 115—127). Даль сообщает, что познакомился с Пушкиным, когда «приехал в столицу и напечатал первые опыты свои» (В. И. Даль. Воспоминания о Пушкине.— В кн.: А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. В двух томах. Т. II, М., 1974, с. 223; далее — Даль, страница). То же, со слов его, записывает Бартенев: «Даль взял новую книжку и пошел сам представиться» (Бартенев, 21).

Появление «Первого пятка» и вся «история» вокруг него — октябрь 1832-го. В середине октября Пушкин возвращается из Москвы в Петербург. Он занят «Дубровским» — историю дворянина-разбойника Островского рассказал ему в Москве П. В. Нащокин. «Честь имею тебе объявить, что первый том Островского (то есть: Дубровского.— *В. П.*) кончен»,— пишет поэт Нащокину 2 декабря.— ⟨...⟩ Я написал его в две недели, но остановился по причине жестокого рюматизма, от которого прострадал другие две недели...» (XV, 36). Знакомство Даля с Пушкиным приходится, скорее всего, на вторую половину ноября 1832 года.

Много позже, когда решение задачи будет уже найдено (словарь!), Даль, вспоминая историю первой своей книги, объяснит (о себе, как обычно, в третьем лице): «Но цели, намеренья его не понял никто ⟨...⟩ Не сказки по себе были ему важны, а русское слово, которое у нас в таком загоне, что ему нельзя было показаться в люди без особого предлога и повода — и сказка послужила

предлогом. Писатель задал себе задачу познакомить земляков своих сколько-нибудь с народным языком, с говором, которому открывался такой вольный разгул и широкий простор в народной сказке (...) Он хотел только, на первый случай, показать небольшой образчик *запасов*, о которых мы мало или вовсе не заботились, между тем как, рано или поздно, без них не обойтись» (ВД, X, 556—557).

Даль хитрит несколько, ограничивая цель издания сказок лишь стремлением показать «запасы». Он будет сочинять сказки и после «Первого пятка» (даже придя к мысли о словаре), но и такая цель, конечно, была — открыто объявлена на титульном листе: переложить «предание народное изустное» «на грамоту гражданскую», то есть попытаться хоть несколько уничтожить тревожащую несообразность устной и письменной речи. Народных слов, пословиц, поговорок в Далевых сказках буквально хоть отбавляй — несомненный избыток, необычность его слога читатели сразу почувствовали, хотя и не поняли его намерения: профессор Плетнев, друг Пушкина, приводит в лекции пословицы из книги, а управляющий Третьим отделением А. Н. Мордвинов, докладывая о книге Бенкендорфу, особо отмечает, что она «напечатана самым простым слогом, вполне приспособленным для низших классов» (Добровольский Л. М. Запрещенная книга в России. 1825—1904. М., 1962).

Независимо от намерений Даля сказки не могут стать *системой*, которая позволяет сберегать и возвращать народу тысячи взятых у него слов со всеми их значениями и оттенками. Видимо, ее-то, эту систему, и подскажет собирателю Пушкин. Даль приходит к нему с огромными запасами (без подводы не увезти!), накопленными за полтора десятилетия, и с вопросом — «Что с ними делать?». Пушкину нет надобности усиленно просить, домогаться, чтобы трудолюбивый Даль собирал слова,— он дает ответ на вопрос: по его настоянию Даль принимается за Словарь.

Но не забудем, Даль приносит Пушкину «первые свои опыты» — разговор, по-видимому, начинается с книги сказок, Мельников-Печерский утверждает, что Пушкин был «в восхищении» от сказок Даля : «Под влиянием первого пятка сказок Казака Луганского он написал лучшую свою сказку — *О рыбаке и золотой рыбке*, и подарил Владимиру Ивановичу ее в рукописи с надписью: «Твоя от твоих! Сказочнику казаку Луганскому, сказочник Александр Пушкин» (ВД, I, XXXIII). Сообщение Мельникова-Печерского документально не подтверждено, «Сказка о рыбаке и рыбке» напечатана лишь в 1835 году — невозможно представить себе, что Пушкин, если вообще решил подарить рукопись, делает это прежде ее публикации.

Суждение биографа Даля о «влиянии» сказочника Луганского на сказочника Пушкина без сомнения преувеличено (см. кн.: Пушкин. Итоги и проблемы изучения. М.—Л., 1966, с. 439—442). Трудно предположить, что Пушкин и в самом деле приходит «в восхищение» от «Пятка первого» — «к быту житейскому приноровленных и поговорками ходячими разукрашенных» сказок, как рекомендует их сам сочинитель. Пушкин, когда впервые встречается с Далем, не только великий поэт, прозаик, драматург, но и великий сказочник: у него в столе «Сказка о попе и о работнике его Балде», неоконченная сказка о медведихе; «Царь Салтан» уже напечатан — в том же 1832 году.

В «Дубровском», которым занят, захвачен Пушкин в пору его первой встречи с Далем, зажили, действуют, говорят нянька Егоровна, Архип-кузнец, кучер Антон — и Антон, беседуя с молодым своим господином, сыплет пословицами не хуже, чем сыплют ими в Далевых сказках, или — точнее — чем Даль в своих сказках, только употребляет их к месту: не попытка показать запасы народных речений — живая речь героя. Да и к главному Далеву делу, собирательству, у Пушкина отношение не стороннее, не умозрительное — в Михайловском, на ярмарках в Святогорском монастыре, в Болдине он записывал сказки, песни, пословицы.

Может ли Пушкин с его необыкновенно точным и проницательным отношением к слову не понять, не почувствовать эту «приноровленность», «разукрашенность» Далевых сказок?..

Даль рассказывает о первой встрече с Пушкиным: «Пушкин, по обыкновению своему, засыпал меня множеством отрывчатых замечаний, которые все шли к делу, показывали глубокое чувство истины и выражали то, что, казалось, у всякого из нас на уме вертится и только что с языка не срывается. «Сказка сказкой,— говорил он,— а язык наш сам по себе, и ему-то нигде нельзя дать этого русского раздолья, как в сказке. А как это сделать,— надо бы сделать, чтобы выучиться говорить по-русски и не в сказке... Да нет, трудно, нельзя еще! А что за роскошь, что за смысл, какой толк в каждой поговорке нашей! Что за золото! А не дается в руки, нет!» (Даль, 223—224).

Воспоминания Даля скупы — оттого, должно быть, что не хочет, боится что-либо присочинить. Это у Мельникова-Печерского все просто: «Дружба с Жуковским сделала Даля другом Пушкина» (ВД, I, XXX). Сам Даль сдержан: «До приезда Пушкина в Оренбург я виделся с ним всего только раза два или три; это было именно в 1832 году, когда я, по окончании турецкого и польского походов, приехал в столицу и напечатал первые опыты свои» (Даль, 223).

Пересказывая Пушкина, Даль, конечно, «прессует», «кристаллизирует» его суждения, хотя в его пересказе ощутима и живая речь — слово произнесенное, как оно слетело с уст. Может быть, не все досконально точно, но главное, то, что для Даля всего дороже, несомненно схвачено, навсегда удержано памятью. Даль к тому же и позже встречается с поэтом, устная речь Пушкина ему знакома, он в силах воспроизвести ее.

«Сказка сказкой, а язык наш сам по себе...» В сказках «Пятка первого» Пушкин именно то увидел, что Даль хотел показать: «образчик запасов».

«Сказка сказкой...» — это несколько даже пренебрежительно. Пушкин как бы отстраняет разговор о «приноровленных» и «разукрашенных» сказках — восемью годами раньше, в Михайловском, он слушал сказки няни и восхищался ими в первозданности их: «Каждая есть поэма!»

Другое дело — язык: «Язык наш сам по себе...» Не язык «Пятка первого», не Далев язык, не «ваш» — язык *наш* сам по себе...

«Изучение старинных песен, сказок и т. п. необходимо для совершенного знания свойств русского языка»,— это Пушкиным уже осознано, написано, хотя и не напечатано (XI, 147). Пушкин чутко и проницательно схватывает, осмысляет самое главное в Далевом собирательстве — его корень, основу и вместе далекую цель: «Выучиться говорить по-русски и не в сказке...»

Язык народа, язык разговорный и письменный, то, о чем Далю еще предстоит серьезно размышлять и что пока лишь тревожит и смущает его, давно составляет предмет раздумий Пушкина.

Знаменитое пушкинское: «⟨...⟩ Есть у нас свой язык; смелее! — обычаи, история, песни, сказки — и проч.»— сказано за десять лет до встречи с Далем, в 1822 году (XII, 192).

Критические работы Пушкина, которые он не отдает в печать, полнятся заметками о языке. «Разговорный язык простого народа (не читающего иностр.⟨анных⟩ книг и, слава богу, не выражающего, как мы, своих мыслей на фр.⟨анцузском⟩ языке) достоин также глубочайших исследований ⟨...⟩ Не худо нам иногда прислушиваться к московским просвирням. Они говорят удивительно чистым и правильным языком» (XI, 148—149). Эта заметка из «Опровержения на критики» (1830) являет собой, говоря по-сегодняшнему, «модель» (по-Далеву: «образец в малом виде») трудов Даля.

Возможно, Пушкин знакомит Даля с некоторыми страницами своих рукописей, посвященными языку, во всяком случае они непременно таят в себе темы их первой беседы и бесед вообще.

Заметки Пушкина — не теоретические суждения как таковые:

это в буквальном смысле «опровержения на критики». Со времен «Руслана и Людмилы» он слышит упреки в употреблении «низких» слов, простонародного языка. В 1833 году увидит свет первое полное издание «Евгения Онегина» — среди примечаний Даль прочитает строки, которые не могут не волновать его: «В журналах осуждали слова: *хлоп*, *молвь* и *топ* как неудачное нововведение. Слова сии коренные русские: „Вышел Бова из шатра прохладиться и услышал в чистом поле людскую молвь и конский топ“ (*Сказка о Бове Королевиче*). *Хлоп* — употребляется в просторечии вместо *хлопание*, как *шип* вместо *шипения:*

Он шип пустил по змеиному.
(*Древние русские стихотворения*)

Не должно мешать свободе нашего богатого и прекрасного языка» (VI, 193—194).

«Пушкин живо интересовался изучением народного языка, и это их сблизило»,— записывает Бартенев со слов Даля (Бартенев, 21).

Суждения Пушкина о языке — один из краеугольных камней, который Даль, поначалу бессознательно взявшийся за собирание слов и до поры не открывший для себя цели этого занятия, кладет в основание своего труда.

В отношении к языку писателей-современников у Даля и у Пушкина также немало общего.

Даль смолоду отводит особое место в отечественной литературе языку грибоедовского «Горя от ума» и басен Крылова. «„Горе от ума“ стоит само по себе, одно, на своем месте первым, и указчика ему нет»,— определит Даль много позже. И прибавит: «То же самое должно сказать о баснях Крылова» (ВД, X, 542). «О стихах я не говорю, половина — должны войти в пословицу» (XIII, 139) — эту, отмеченную тотчас Пушкиным «пословичность» языка грибоедовской комедии Даль тоже сразу и один из первых чувствует. В повести «Расплох» он дает к каждой главе эпиграф из «Горя от ума» — именно как пословицу, без ссылок на автора. Позже, в «Толковом словаре» Даль, избегавший брать примеры книжные и предпочитавший обходиться пословицами, сделает исключение опять же в первую очередь для Грибоедова и Крылова; любопытно, что цитирует он их подчас неточно, приводит взятые у них речения так, как они ходят в устной беседе,— как бы видит в них скорее пословицу, чем литературный пример.

В статье «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова», напечатанной в 1825 году в «Московском телеграфе» (через пять лет в этом журнале Даль-писатель впервые заявит

о себе повестью «Цыганка»), Пушкин пишет о Крылове как о представителе духа своего народа. Но в этой же статье Даль может вычитать: «Простонародное наречие необходимо должно было отделиться от книжного, но впоследствии они сблизились, *и такова стихия, данная нам для сообщения наших мыслей*» (XI, 31).

Здесь корень будущего расхождения во взглядах Даля и Пушкина,— поэту до этого будущего дожить не суждено. В 1836 году в III томе «Современника» появится пушкинское «Письмо к издателю»: «Писать единственно языком разговорным — значит не знать языка» (XII, 96).

Даль долгие годы будет увлеченно твердить о большей выразительности именно разговорного языка. Конечно, нельзя вдруг дать «права гражданства» бездне бытующих в народе «кратких, сильных, вразумительных» слов и выражений (ВД, X, 547), но не потому нельзя, что речения эти не составляют языка литературы, более того — имеют «хождение» подчас на весьма ограниченной территории, а потому лишь, что «оно хорошо, да мы к этому не привыкли» (ВД, X, 560).

Он и о Пушкине скажет запальчиво, что у него лишь «пахнёт русским духом иногда», и примеры приведет, когда Пушкин «грешил против родного языка» (ВД, X, 542, 552), и вызовет по своему адресу (он, Даль, предпочитает вместо «адрес» — «насыл»!) ироническое замечание Белинского, что русский язык представляется Казаку Луганскому «испорченным русскими писателями от Карамзина до Пушкина включительно (об остальных уже и говорить нечего)» (Русские писатели о языке. Л., 1954, с. 203). Но в «Напутном слове» к Словарю, подводя итог, почти повторит за Пушкиным: «Нет, языком грубым и необразованным писать нельзя, это доказали все, решавшиеся на такую попытку, и в том числе, может быть, и сам составитель словаря» (ТС, I, XIV).

Продолжение в следующем номере и окончание — в № 1 1988 года

„Песня в подземелии"

Поэтический строй лирики К. К. Случевского

Л. И. Соболев

А теперь я что? Я — песня в подземелии,
Слабый лунный свет в горячий полдня час,
Смех в рыдании и тихий плач в веселии...
Случевский. «Дайте, дайте мне, долины наши ровные...»

«Поэт противоречий» — так назвал В. Брюсов Случевского в некрологе, напечатанном в журнале «Весы» (1904, № 10). В жизни и взглядах поэта, в его судьбе и стихах Брюсов видел разлад и диссонансы. «Нескладно, почти смешно» — и «пророчески сильно, огненно-ярко» звучит речь поэта; «в самых увлекательных местах своих стихотворений он вдруг сбивался на прозу, неуместно вставленным словцом разбивал все очарование(...)» (Брюсов В. Я. Ремесло поэта. М., 1981, с. 278). Противоречия Случевского, по Брюсову,— его беда и проклятие. Между тем в этих противоречиях — открытия поэта и его сила.

Константин Константинович Случевский (1837—1904) — младший современник Некрасова и Полонского, Фета и Майкова. Он начинал писать в трудное для поэзии время — не случайно в его поколении так мало поэтов. Непривычные стихи его вызвали восторг Аполлона Григорьева и сочувствие Тургенева. Но больше было пародий...

Пародист, как правило, реагирует на непривычное, странное — иными словами, на смещение поэтической традиции. Пародия — прием литературной борьбы. Перечитаем старые пародии: что раздражало современников Случевского в его стихах? При этом будем помнить точное замечание И. Г. Ямпольского: «Пародия и карикатура характеризуют не только осмеянное произведение, но в еще большей степени смеющегося над ним человека; они характеризуют, иначе говоря, отдельные участки литературной борьбы прошлого» (Звезда, 1928, № 9, с. 93).

Д. Минаева и Н. Курочкина, Н. Ломана и Н. Добролюбова могло раздражать в Случевском многое — и тематические пристрастия, и круг идей, и социальная ориентация. Но нас сейчас интересует восприятие современниками «речевого поведения поэта» (термин Ю. Н. Тынянова). Именно оригинальность стиля поэта вызвала пародии в «Искре», «Времени», «Современнике» («Свистке»), отклик-

нувшихся на литературный дебют Случевского. Приведем его стихотворение «На реке весной» (Отечественные записки, 1860, № 5) и рядом — пародию Н. Курочкина (Искра, 1860, № 23):

Последним льдом своим спирая
Судов высокие бока,
В тепле весны шипя и тая,
Готова тронуться река.

Она сбежит и в степь и в горы
Под легкой сенью облаков,
По дну ее пойдут узоры
Из разноцветных парусов.

Река сберет в свои алмазы
С лугов сбежавшие снега,
Она запомнит те рассказы,
Что ей нашепчут берега.

Она снесет, поток свободный,
К равнине моря голубой
И труп гуляки, труп холодный,
И ландыш, брошенный дитей.

Едва застывшим льдом спирая
Челнок забытый под бока,
От стужи ежась, замерзая,
Ворчит бессильная река!
Уж не сбежать ей в степь и в горы
Под темным грузом облаков —
И где на дне ее узоры
Из разноцветных парусов?
С лугов сбежавшие топазы
Кристаллизуются в снега —
И все стиховные проказы
Передадут ей берега...
И только в будущее лето
Она снесет в морской простор
Негодный хлам, ненужный сор,
Стихи бездарного поэта,
И всякий вздор, и всякий вздор...

Пародия не очень сильна, но ощущение стиля в ней есть. Пародируется прежде всего характерная для Случевского черта — олицетворение природы: река — *запомнит*, берега — *нашепчут* и т. п. У пародиста — ничуть не сильнее: *ежась, ворчит* (многое просто повторяется). Этот поэтический прием охотно пародируется и другими: «Как в объятиях березу дуб сжимал» — в пародии Н. Ломана (у Случевского: «Обнимается зеленый клен с сосной (...)»); «Подбоченясь ходит месяц» (ср. «Ходит ветер избочась (...)» у Случевского) — в пародии Д. Минаева. Эта на сегодняшний взгляд вполне естественная примета поэтической речи пародировалась и у других поэтов — чаще всего у Полонского и Фета.

Излюбленный прием пародистов «Искры» — остранение метафоры: поэтический троп «проверяется» прозаическим здравым смыслом. Разумеется, поэтическая речь этой проверки не выдерживает, поскольку на нее не рассчитана. «Смешение языков» — традиционный грех грубой пародии (на неискушенного читателя этот прием действует безотказно). Простая метафора: «По дну ее пойдут узоры / Из разноцветных парусов» вызывает недоумение Н. Курочкина: «И где на дне ее узоры / Из разноцветных парусов?» Едва ли пародист мог предполагать гораздо более смелые строки будущих стихов Случевского: «пять верст страданий» (это — о рыбацком перемете для ловли трески в стихотворении «Какие здесь всему великие размеры!..»); «слезами смерти он опрыскан» (Цветок,

сотворенный Мефистофелем); «Я в сфере чувства и умов / Вновь воскрешу ихтиозавров» (Рецепт Мефистофеля).

Нарочитое обессмысливание («алмазы реки» превращаются в «с лугов сбежавшие топазы») неизбежно венчается уже не пародийной, а журнальной грубостью, рифмующей *сор, вздор* и другие «стиховные проказы» «бездарного поэта». Из прочих выступлений «Искры» любопытнее всего «На кладбище», в котором Н. Ломан пародирует одноименное стихотворение Случевского. В этой (тоже весьма грубой) пародии заметнее всего фантастический сюжет; впрочем, он настолько оригинален у самого поэта, что пародисту остается только повторить его. Едва ли и в частностях Н. Ломан превзошел поэта. У Случевского:

Я смотрю (...)
. . . . . .
Как летают, лбами стукаясь, жуки (...)

У Ломана:

Я взобрался (...)
И внимательно смотрел, как на лету
Два тяжелые, кургузые жука
Колошматили друг друга под бока (...)

Как реагировал поэт на критику и на пародии — отдельная тема, но фантастическому сюжету он остается верен и в поздних стихах (Горящий лес), и в своих странных поэмах (В снегах, Тоже нравственность). Но уже в начале пути, в стихотворениях «Я видел свое погребенье...», «Из Гейне» заметен общий мотив: как и в названном выше «На кладбище», поэт заглядывает в царство мертвых, словно отрицая непроницаемость грани между здешним и запредельным миром. Сама эта тема станет чуть ли не главной для поэтов 80-х годов — А. Н. Апухтина, К. М. Фофанова, А. А. Голенищева-Кутузова, С. А. Андреевского. У Случевского она оформлена всегда гротескно — и не только в сюжете, но и в деталях («сморщенный лоб» покойника), в интонации и в словаре.

Словарь Случевского свидетельствует о решительном разрыве с традицией «золотого века» русской поэзии. Прозаизмы, канцелярские обороты, научные термины соседствуют у него с поэтическими штампами и взрывают гладкость стиха (кстати, параллельные явления заметны в поэтической работе Некрасова): «Есть, есть гармония живая / В нытье полуночного лая / Сторожевых в селе собак (...)». Или: «Незримый дух какой-то силой тайной / Святой огонь нежданно запалит (...)»

«Гармония живая» — и «лай собак»; «Святой огонь» рядом с просторечным «запалит» — не обмолвки Случевского, а проявления стилевых закономерностей. Вот еще несколько примеров обновле-

ния поэтических штампов: рядом с банальным «надежд зоревые огни» находим у него «скарб и хлам надежд», «надежд невозможных чертоги», «на тихом кладбище надежд и начинаний», «бурун живых надежд и ожиданий» и «остовы надежд».

В стихах Случевского можно отыскать бесспорные штампы: «безумья желаний живых, ⟨...⟩ / Дум животворных и грез золотых», но характернее другое: «сфинксы правды», «чувства — отпрыски тепла и тишины». «Дикая красота негаданных сближений» — так поэт мог бы определить принципы сочетания слов в своих стихах: «И светлый сильф в объятьях кислорода»; «на пиршестве тоски, на ша́баше скорбей».

Давно разрушенная иерархия высокого и низкого сменяется у Случевского взаимопроникновением бытового и бытийного, мелкого, мгновенного — и вечного, значительного:

Одинаковы в доле безвременья,
Равноправны, вступивши в покой:
Прометей, и указ, и Колхида,
И коллежский асессор, и Ной...

Коллежские асессоры

«Небрежение словом» как особый стилистический принцип рождает смелые формулы поэта: «засмеивать печаль»; «а мнениям своим нет места прорасти»; «и слез нельзя перечитать»; «прикрыта вскользь»; «содроганием звезд на старинных осях».

Пожалуй, здесь скорее небрежение поэтическим каноном, его разрушение. Новому зрению привычный мир вновь являет свою непостижимость... Уравнены в поэтическом сознании Случевского реальное и фантастическое, всегда готовые (взаимно) перейти одно в другое. Это особенно заметно в сравнениях: «искры блещут, что риза живая...»; «острова темных водорослей» — «словно ряд плывущих шуток, / Словно легкий фельетон» — подчеркнутая немотивированность сравнений делает их неожиданными: падающие листья — «бывшие страданья, / Облетевшие мученья / И поблекшие желанья»; «И только изредка мы властны ⟨...⟩ / Бывать к судьба́м людей причастны, / Как у машины провода»; «точно водой, глупой кротостью / Эти могилы пропитаны»; «Будто месяц с шатра голубого, / Ты мне в душу глядишь, как в ручей».

Сравнения Случевского легко утрачивают предметность и этим тяготеют к метафорам: «Как сочится вода сквозь погнивший постав, / У плотины бока размывает, / Так из сердца людей, тишины не сыскав, / Убывает душа, убывает...», а метафоры часто дерзки, особенно на фоне традиции. Не случайно они вызывали возмущение современников — от Тургенева до Надсона: мысли — «мумии бедной моей головы»; очертанья скал — «летопись страданья /

Исковерканных пластов»; «Здесь вечность (...) легла для отдыха и дышит на просторе!»; «Сны ночные (...) собираются, снуют».

Грезы, сны, виденья — излюбленные Случевским формы познания мира. Эпоха требовала определенности во всем — поэт настойчиво подчеркивал относительность человеческого знания, сомнительность фетишей своего времени. «Неуловимое», «Невменяемость» — характерные заглавия стихов Случевского, в зыбком, колеблющемся мире которого мнится, «Что где-то, до того, когда-то жили мы».

Обилие неопределенных местоимений и наречий сочетается с избытком вводных слов. Создается затрудненность синтаксиса, его «неправильность»; часто негладкость стиха сочетается с «прозаическим косноязычием». Приведем пример из стихотворения «Да, нет сомненья в том, что жизнь идет вперед...»:

Пугает вечный шум безумной толчеи
Успехов гибнущих, ненужных начинаний
Людей, ошибшихся в избрании призваний,
Существ, исчезнувших, как на реке струи...

Здесь наблюдаем нередкий у поэта случай нагромождения причастий и родительных падежей.

Характерные примеры синтаксической затрудненности у Случевского:

Если искреннее обниму тебя я —
Может быть, что нас тогда не разлучат...
«Я люблю тебя, люблю неудержимо...»

Было то почти недавно;
Там, где путь идет в Сибирь,
Раз жила-была вдовица,
Ростом, силой — богатырь.
Забайкальская вдова

«Неправильности» речи (*почти недавно, раз жила-была*) во многом связаны с разговорной интонацией стихов Случевского: «Напиши ты мне, бывает ли с тобою, / Как со мной, не знаю отчего (...)»; «И тогда ... Ой, братцы, осторожней! / Не качайтесь... Лодку кувырнем!»

Особенно заметны разговорные интонации в зачинах стихотворений: «*Нет, не могу!* Порой отвсюду (...)»; «*Молчи, не шевелись!* Покойся недвижимо (...)»; «*Здравствуй, товарищ!* Подай-ка мне руку. / Что? Ты отдернул? Кажись, осерчал?»; «*А!* Ты не верила в любовь! Ты хороша (...)»

Ритмический диапазон Случевского — тема отдельного исследования. Приведем все же два примера из цикла «Мефистофель», чтобы показать возможности этого поэта: «Общество сидело / Тарато-

рило, / Издевалось, лгало, / Пустословило!..»; «Есть в продаже на рынках, на тесьмах, на пружинках / Картонажные полишинели. / Чуть за нитку потянут — вдруг огромными станут! / Умеиьши́лись, опять подлиннели...»

В этом же ряду стихотворение «Брави» (с кольцевым строением строфы) и «О первом солдате» («Песня Семеновского полка») — к сожалению, нельзя цитировать еще и еще, но прихотливый перебор ритма и рифмовки у Случевского не имеет аналогий в современной ему русской поэзии. Удержимся от соблазна сопоставления нашего поэта с поэтами XX века. Во-первых, всякое отдельное соотнесение (если не сравнивать поэтические системы в целом) мало что объясняет; во-вторых, есть опасность представить Случевского лишь предтечей других поэтов, сведя на нет его собственную литературную судьбу. А она, между тем, была весьма интересной; интересной осталась и его поэтика: и *по ритмическим экспериментам*, вроде пропуска гласного звука в последнем (рифмующемся) слове: «В поле борозды что строфы, / А рифмует их межа, / И по ним гуляют дрофы, / Чутко шеи настр'жа!» (Кстати, в последующих изданиях стихотворения «В поле борозды что строфы...», впервые напечатанного в «Русском вестнике» (1883, № 10), наблюдаем замену *настр'жа* на привычное *насторожа*. Нередкие примеры авторедактирования Случевского свидетельствуют, как правило, о сглаживании оригинальности стилевой манеры поэта); и *в перекличке с традиционными поэтическими ритмами*, как это видно в стихотворении «На судоговореньe»:

Там круглый год, почти всегда,
В угрюмом здании суда,
Когда вершить приходит суд,
Картины грустные встают ‹...›

—, которое явно напоминает ритмический рисунок «Мцыри»; следующий отрывок из стихотворения, названного по первой его строке:

Когда приветливо и весело ласкаясь,
Глазами, полными небесного огня,
Ты, милая моя, головкой наклоняясь,
Глядишь на дремлющего в забытьи меня ‹...›

перекликается (не только ритмом, но и лексикой) с лермонтовским стихотворением «Из-под таинственной, холодной полумаски» (см. об аналогичных опытах Некрасова статью Б. Эйхенбаума «Некрасов») — и *в слишком частых* (по сравнению с современниками) *нарушениях ударения*: «верба́», «пахото́й», «клю́ете», «пили́т», «в странах кумыса́» (и множество других примеров).

Стилистическая дисгармония Случевского — «способ раскрытия

трагизма и внутренней дисгармонии в сознании». Таково мнение А. В. Федорова, автора предисловия к сборнику поэта «Стихотворения и поэмы» (М.— Л., 1962), откуда в основном взяты стихотворные примеры. Соображение это справедливо и важно. Но не менее важно в Случевском ощущаемая за неправильностями его речи, изощренностью ритма, прихотливостью метафор тоска по красоте, ожидание ее, стремление к ней. Пример тому его стихотворение «Быть ли песне?»:

Переживая злые годы
Всех извращений красоты —
Наш стих, как смысл людской природы,
Обезобразишься и ты;

Ударясь в стоны и рыданья,
Путем томления пройдешь.
Минуешь много лет страданья —
И наконец весну найдешь!

То будет время наших внуков,
Иной властитель дум придет...
Отселе слышу новых звуков
Еще не явленный полет.

Из наблюдений текстолога

Три курсива в „Анне Карениной"

Э. Г. Бабаев,
кандидат филологических наук

В романе Льва Толстого «Анна Каренина» есть слова, напечатанные курсивом. Это именно те слова, на которые особенно «налегают», то есть стараются их выделить, обратить на них внимание, герои романа. Так Алексей Александрович Каренин в день получения награды произносит слово «прекрасный»:

«Какой нынче *прекрасный* день,— прибавил он.., особенно налегая на слове «*прекрасный*» (Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. в 90 томах. Т. 19. М., 1935, с. 87).

Курсив в прямой речи Каренина получает интонационное значение.

Выделены некоторые слова и в речи Стивы Облонского, но они имеют иное значение. Облонский продает задешево свой лес купцу Рябинину, чем очень недоволен Левин.

«Ведь это не обидной лес,— сказал Степан Аркадьич, желая словом *обидной* совсем убедить Левина в несправедливости его сомнений,— а дровяной больше» (Толстой Л. Н. Указ. соч., т. 18, с. 175). Но его слова нисколько не рассеяли сомнений Левина, потому что он знал «грамоту о лесе» лучше Облонского.

«*Обидной, станет 30 сажен.* Говорит слова, а сам ничего не понимает»,— думает Левин про Облонского.

В. Ф. Саводник в комментарии к «Анне Карениной» пишет, что «обидно́й лес — это молодой лес, годный лишь на мелкие поделки (ободья, оглобли, полозья) (...) Обидной (ободной, ободовый) лес, как молодой и низкорослый, ценится дешевле дровяного, более старого и рослого» (Толстой Л. Н. Анна Каренина. Т. 1, М.— Л., 1928, с. 383). Выходит, что Облонский напрасно «налегал» на слове *обидной*, когда продавал дровяной лес, потому что это слово означает совсем не то, что он думал. Здесь курсив имеет уже не только интонационное, но и смысловое значение.

Но курсив появляется и в авторской речи. Во второй части романа, там, где изображена Анна Каренина в петербургском свете, Толстой пишет:

«Большинство молодых женщин, завидовавших Анне, которым уже давно наскучило то, что ее *называют справедливою*, радовались тому, что́ они предполагали, и ждали только подтверждения оборота общественного мнения, чтоб обрушиться на нее всею тяжестью своего презрения» (Толстой Л. Н. Указ. соч., т. 18, с. 183).

В данном случае курсив имеет прежде всего историческое значение и указывает на неназванный источник. А речь идет о знаменитых «Сравнительных жизнеописаниях» древнегреческого историка Плутарха.

Ссылки на Плутарха именно в великосветском кругу были признаком образованности и хорошего вкуса еще со времен Екатерины II, которая переводила «Жизнь Алкивиада».

Наряду с Алкивиадом весьма примечательным лицом исторического «пантеона» Плутарха был Аристид. В объяснениях к одной из своих торжественных од Державин пишет: «Аристид — полководец и казначей Афинской республики, прозванный п р а в д и в ы м; он заслужил себе бессмертие бескорыстною своею справедливостью. Со всем тем сей великий муж не избежал клеветы и осужден был (...)» (Державин Г. Р. Стихотворения. Л., 1957, с. 393).

Именно с Аристидом и сравнивает Толстой Анну Каренину накануне ее осуждения светом. Сравнение это имеет, конечно, иронический смысл, но в нем есть и несомненная психологическая глубина, подсказанная не только историческим источником, но и житейским опытом.

Анна была самая правдивая, за что и подверглась нападкам со стороны тех, кому «наскучило то, что ее *называют справедливою*».

Плутарх рассказывает об Аристиде в первом томе своих «Сравнительных жизнеописаний». Во время суда каждый должен был написать на черепке имя осуждаемого. «Рассказывают,— отмечает Плутарх,— что, когда надписывали черепки, какой-то неграмотный, неотесанный крестьянин протянул Аристиду — первому, кто попался ему навстречу,— черепок и попросил написать имя Аристида. Тот удивился и спросил, не обидел ли его каким-нибудь образом Аристид. «Нет,— ответил крестьянин,— я даже не знаю этого человека, но мне надоело слышать на каждом шагу „Справедливый" да „Справедливый"!.. Аристид ничего не ответил, написал свое имя и вернул черепок» (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. В трех томах. Т. 1. М., 1961, с. 414).

Рассказ Плутарха является своего рода исторической притчей о превратностях людского суда и мнения. По своему нравственному смыслу эта притча близка Толстому, который вообще очень высоко ценил Плутарха и ставил его сравнительные жизнеописания в один ряд с народными сказаниями и летописями.

Курсив в авторской речи, там, где говорится о положении Анны Карениной в свете накануне ее осуждения и изгнания из «своего круга», был знáком опущенной цитаты из Плутарха, которая может быть восстановлена лишь в комментариях к роману.

...Часто спрашивают, как надо читать — быстро или медленно? Это сложный вопрос, на который, как известно, даже Гете не мог ответить однозначно. Что касается художественного произведения, то чтение, по-видимому, должно быть соразмерным его сложности, так, чтобы в поле зрения попадало и то, что скрыто в глубине строки.

Но такое, соразмерное, или, как еще говорят, адекватное чтение не всегда доступно даже опытному комментатору. Во всяком случае, ни в одном из существующих ныне комментариев к «Анне Карениной» Плутарх не упоминается.

КОРОТКО О КНИГАХ

В издательстве «Просвещение» вышла книга Н. А. Кондрашова «Славянские языки» (М., 1986). Книга состоит из двух разделов: «Славянские древности и праславянский язык» и «Современные славянские языки».

В первом разделе даны важнейшие сведения о географическом расселении древних славян, о фонетических и морфологических особенностях общего для всех древних славян праславянского языка. Специальное внимание уделено старославянскому языку — древнейшему литературному языку славян и представлена также история изучения славянских языков, в которой достойное место занимает русское языкознание.

Во втором разделе книги рассмотрены современные славянские языки. Очерк системы каждого языка сопровождается поэтическим и прозаическим текстами, написанными на данном языке.

С. В. Ильинский

„Вы думаете, павшие молчат?"

Выразительные средства в поэме Е. Исаева «Суд памяти»

В. М. Фонштейн,
кандидат филологических наук

В этой поэме наш современник поэт Е. А. Исаев взывает к совести всех, населяющих Землю: «Помните, что принесла людям война, и не допустите ее повторения!» По мысли поэта, оставшиеся в живых ответственны перед павшими в борьбе за будущее грядущих поколений, и поэтому каждый должен пройти через суд своей памяти. Поэма пронизана горячей любовью к людям, глубокой тревогой за них, страстным призывом беречь мир.

Поэма «Суд памяти» выдержала испытание временем, потому что в ней нашли яркое художественное воплощение вопросы, важные для всех нас. Произведение построено на столкновении ритмов, красок, звуков, образов. Прием антитезы, как одно из выразительных средств, автор широко использует и в языке.

Смысловое содержание слова в поэме очень емко, часто носит окказиональный характер. Антонимы нередко являются результатом индивидуального, авторского словоупотребления. Так, *шагать, топать* в следующем отрывке употреблены в значении «двигаться беспрекословно, не рассуждая, механически выполняя приказ»: «Шагал, а думал мало. / Вперед! / За жизненный простор! / И я / Стрелял и топал ⟨...⟩ / ⟨...⟩ И вот сижу, бедняга Курт ⟨...⟩ / ⟨...⟩ И, представляешь — думаю». Таким образом, слова *шагать* и *думать* становятся антонимичными в устах Курта — бывшего солдата фашистской армии, потерявшего «на фронте, у Валдая» ногу и теперь с горечью и осуждением взирающего на прошлое. Потрясенный кошмарным ви́дением гибели человечества в будущей войне Курт страшен, у него «во все глаза кричит душа». Другое дело Хорст — ненавоевавшийся гитлеровский вояка, антипод Курта, антигерой Исаева.

На фронте Хорст испытывал противоположные, взаимоисключающие чувства — азарт и страх. Как солдат, «он должен быть жесток / И, как взрыватель, / Прост». Однако и у него перед справедливым возмездием «страх тот был, / Его не обмануть, / Не от-

креститься, нет!» И вот, чудом уцелев, «гордый крестоносец райха» возвращается в Германию, где «вместо дома — развалины». Непривычны для читателя ощущения этого солдата-профессионала: «Почти всю жизнь работавший на смерть, / Он стал на жизнь, / На тишину работать». В противопоставлении *смерть — жизнь, тишина* слово *жизнь* шире обозначения «физиологического существования», то есть того, что противоположно смерти. Это и стремление опустошенного войной человека к тишине, покою.

Благодаря выявлению глубинного смысла слова создается образ, и такое вдумчивое отношение к поэтическому языку вообще свойственно Исаеву, который однажды писал: «(...)Разное бывает состояние слова. Слово в словарном его значении, когда оно просто обозначает предмет, действие и т. д., слово как информация и слово-образ» (Вопросы литературы, 1967, № 4, с. 68), явно отдавая предпочтение последнему.

Через всю поэму проходят символичные и контрастные образы *стрельбища* и *земли-труженицы*. Зловещей и зримой предстает перед читателем такая картина: «Пустырь. / Могильная тоска, / Хотя здесь нет могил». И к ней как бы подпись: «Здесь нет могил, / Но здесь начало их». Это — *стрельбище*, и у Исаева это слово обозначает не только «участок для учебной стрельбы», но и приобретает значение «места боя», становится символом мирового полигона для убийц, для фашистской милитаристской машины: «И громыхало / стрельбище, / Росло / Во все концы / контуженной / Европы».

Это выморочная земля, и по контрасту автор вводит понятия *поля, пастбища, кладбища* — мест, по-разному, но необходимых людям. Таким образом, конкретное содержание слова *стрельбище* дополняется метафорическим — «гибельное, не нужное людям место» — и тем усиливается антимилитаристское звучание поэмы.

Для безработного Хорста *стрельбище* — это «кладбище свинца», а значит — деньги, способ выжить. Он разъясняет Лотте, жене: «Копни песок — / и он в песке. / Не пригоршня, / А тонны там! / Свинца». И уточняет: «Свинец во много раз, / учти, / Дороже винограда». Хорст меньше всего думает о страшных последствиях своего предприятия: «Он не такой, чтоб рассуждать. / Работа есть работа». Маршевая интонация стиха подчеркивает его философию обывателя: «Он быстро в комнату вошел. / Насвистывая что-то, / И пули / высыпал / на стол. / И отшатнулась Лотта».

Полигон, несущий смерть, и *земля-кормилица*. Сеющему смерть *стрельбищу* противостоит созидающая сила *земли*, отупению от военного психоза — разум человека-творца: «Она / Собой / Вскормила человека / И гордо распрямила над собой./ (...) И разбудила мысль».

Земля — это цветущее поле с ромашками, но и «капельная точка во Вселенной». Здесь петухи передают «приветствие рассвету», как эстафету: «Через Печору, / Через Прут, / Через поля полесские... / Отпелись волжские. / Поют / Дунайские / И рейнские». Через это сближение поэт утверждает, что Земля — наш общий дом, все мы соседи на одной планете. Так в поэме проходит актуальнейшая, жизненно важная мысль о необходимости объединения всех людей доброй воли против сил зла. Столкновение частного и масштабного, реального и символического определяет философско-публицистический характер поэмы.

«Суд памяти» — произведение публицистическое и лирическое одновременно. Самые задушевные строки автор посвящает Земле мира, труда. Лиричен пейзаж, несущий большую идейную нагрузку, как антитеза капиталистическому городу: «Цвела ромашка, / Ячмени цвели. / Кузнечик прыгал, / О своем кузнеча...» В этих строках с помощью аллитераций (*ц, з*; *ч, ш*) автор воспроизводит стрекот кузнечика в знойной тишине, шуршание растений на легком ветру.

Рассказ о безумном решении Хорста собирать свинец «взламывается» гимном мирной Земле: «А под луной, / С луной / И звездной тишиной, / Летит бескрайний / Шар земной. / Летит Земля (...) / Великая! (...) / Спелёнатая мягко облаками, / Овеянная тысячью ветров. / Летит Земля».

Почти полное отсутствие *р*, повторяющиеся *м, л* придают картине плавность, мягкость, подчеркивают незащищенность Земли, которую мы призваны беречь. Так, с помощью звуковых повторов углубляется образ, наполняясь новым содержанием.

Встречается в поэме плеонастическое использование личных местоимений 3-го лица. Такое построение придает стиху особую выразительность: «Свинец — он кровью пахнет / и дымком». А фраза-предостережение «Огонь — он возвращается», можно сказать, стала крылатой, грозным предостережением всем поджигателям войны.

Наиболее дорог автору образ Памяти, который в поэме персонифицирован в облике *босой, маленькой, простой* женщины. Кредо обывателя: «Думать — лишний труд». Поэтому: тревожащую «Память — на замок, / Чтоб не мешала жить!» Поэт отвергает такую позицию, как гибельную, он утверждает могущество человеческой памяти, и в этом гуманизм его произведения.

Шесть лет работал Е. Исаев над небольшой по объему поэмой, и, читая ее, ощущаешь тщательнейшую работу над каждой строкой, над каждым словом. Оттого оно кажется единственно уместным, будто создавалась поэма «по законам строжайшей необходимости, а не по произволу автора» (Белинский В. Г. Изб. соч. 1948, с. 97).

Удивительно точны, выразительны эпитеты, заключающие максимум информации и экспрессии: «⟨...⟩ В полынный цвет / Железный шлем, / Мундир в полынный цвет». Здесь *полынный* несет двойную нагрузку: указывает на цвет и на ощущение горечи при взгляде на него. Второе значение, ассоциируемое со словом *полынь* — «трава с горьким вкусом»,— становится единственным в сочетании *полынная тоска. Пепельное* лицо Курта — это и цвет его и отражение душевного состояния — горьких раздумий о прошедшей войне и страх перед будущей.

«*Безликая* голова» фанерной мишени приучает солдата не видеть человека в человеке, «*чуткая* ладонь» направляет дуло автомата, «*развернутый* огонь» накрывает «*живой простор*», «*небронированное* сердце», «*железно-скоростной* и *потогонный* век». Бедное жилище Хорста названо «*ночлежным*», «*голостенным* уголком». «*Пугающая* осень в волосах» объясняет угнетенное состояние безработного, бесперспективность его положения. «*Шинельная* юность» — необычное словосочетание, напоминающее о загубленной юности человека, натренированного на убийства.

Мрачный каламбур скрыт в сетованиях Хорста на то, что наступает «Для полевых работ / Сезон, / Как говорится, мертвый. / Сиди и жди / И лезь в долги / До посевной». Здесь мирные «полевые работы» и «посевная» обозначают благоприятные условия для отсева из песка пуль — «праматерь всех снарядов и ракет», «мертвый сезон» — затишье, перерыв в «работе» Хорста, конечный результат которой — возможная гибель всего живого, мертвая Земля.

Курт предостерегает: «Запомни, Хорст, как дважды два: / Огонь — он возвращается». Хорста предостерегает сама западногерманская действительность: «Шаги! / Шаги! / Знакомо так, / Размеренно и грубо. / За шагом — / шаг. / За шагом — шаг, / Как будто / камни / рубят». Для него, для оболваненного Хорста звучит наполненный горькой иронией монолог Ганса, сталкивающего два значения слова *долг* — обязанность перед отечеством, обществом и материальная, денежная зависимость: «А ты — герой! — о долге мне орешь. / Все это ложь! / ⟨...⟩ Бросали нас / И убивали нас / На всех фронтах / Все те же, Хорст, они, / Кому всю жизнь до нищеты должны. / За хлеб должны, / За кружку молока. / За место у патронного станка. / Всю жизнь должны / Как деды и отцы. / Подвалы — нам, а им, старик,— дворцы! / Окопы — нам, а им, старик,— чины. / Платили кровью! / Все равно должны. / И с ними бог. / Не с нами. / С нами — долг!».

Поэт не наивен, он знает наверняка, что все попытки разбудить дремотную память Хорста, хоть сколько-нибудь расшевелить его уснувшую совесть тщетны. И тогда, поскольку «поэма близится

к концу», он выносит справедливый и неумолимый приговор:

И я встаю,
Тревогу бью
Всей многотрубной медью!
Я Курту руку подаю.
Я Гансу руку подаю.
Тебе же, Хорст, помедлю...

Е. Исаев писал: «...Когда человек творит, то в нем работают и талант, и гражданин, и характер. Только в сочетании этих качеств возможен хороший результат» (Вопросы литературы. 1967, № 4, с. 70). Поэма «Суд памяти» и явилась результатом высокого художественного мастерства поэта-гражданина.

КОРОТКО О КНИГАХ

Т. А. Ладыженская. Живое слово

Эта книга вышла в издательстве «Просвещение» в 1986 году. В ней рассмотрен круг вопросов, связанных с употреблением устной речи на уроках русского языка. Последние достижения современной лингвистики по изучению устной речи Т. А. Ладыженская иллюстрирует конкретными примерами, взятыми из педагогической практики, дает образцы различных стилей общения. Автор рассматривает также наиболее важные аспекты речевого развития школьников, в частности воспитание вежливости через знакомство детей с нормами речевого этикета, обучение учащихся логично и связно строить свои ответы на уроке. Интересно рассказано об ораторском искусстве: автор умело привлекает материал публицистических выступлений В. И. Ленина, Н. К. Крупской, С. М. Кирова и т. д.

Каждый раздел книги снабжен списком необходимой литературы. В приложении к книге даны задания для самостоятельной работы. Адресованная студентам, книга «Живое слово» окажется полезной и для учителя-словесника в его повседневном труде, направленном на повышение культуры устной и письменной речи школьников.

К. Ф. Седов
Саратов

„Я взял подряд на этот заказ..."

М. М. Зощенко о литературе и ее языке

Ю. В. Томашевский

Рассказ Михаила Зощенко (1894—1958) «Обезьяний язык» был написан в 1925 году. Не нужно быть слишком догадливым, чтобы понять, что «жало этой художественной сатиры» направлено против засорения русской речи канцеляризмами и словами «с иностранным, туманным значением».

Трудный это русский язык, дорогие граждане! Беда, какой трудный.

Главная причина в том, что иностранных слов в нем до черта. Ну взять французскую речь. Все хорошо и понятно. Кескесе, мерси, комси — все, обратите ваше внимание, чисто французские, натуральные, понятные слова.

А нуте-ка, сунься теперь с русской фразой — беда. Вся речь пересыпана словами с иностранным, туманным значением.

От этого затрудняется речь, нарушается дыхание и треплются нервы.

Я вот на днях слышал разговор. На собрании было. Соседи мои разговорились.

Очень умный и интеллигентный разговор был, но я, человек без высшего образования, понимал ихний разговор с трудом и хлопал ушами.

Началось дело с пустяков.

Мой сосед, не старый еще мужчина с бородой, наклонился к своему соседу слева и вежливо спросил:

— А что, товарищ, это заседание пленарное будет али как?

— Пленарное,— небрежно ответил сосед.

— Ишь ты,— удивился первый,— то-то я и гляжу, что такое? Как будто оно и пленарное.

— Да уж будьте покойны,— строго ответил второй.— Сегодня сильно пленарное, и кворум такой подобрался — только держись.

— Да ну? — спросил сосед.— Неужели и кворум подобрался?

— Ей-богу,— сказал второй.

— И что же он, кворум-то этот?

— Да ничего,— ответил сосед, несколько растерявшись.— Подобрался, и все тут.

— Скажи на милость,— с огорчением покачал головой первый сосед.— С чего бы это он, а?

Второй сосед развел руками и строго посмотрел на собеседника, потом добавил с мягкой улыбкой:

— Вот вы, товарищ, небось не одобряете эти пленарные заседания... А мне как-то они ближе. Все как-то, знаете ли, выходит в них минимально по существу дня... Хотя я, прямо скажу, последнее время отношусь довольно перманентно к этим собраниям. Так, знаете ли, индустрия из пустого в порожнее.

— Не всегда это,— возразил первый.— Если, конечно, посмотреть с точки зрения. Вступить, так сказать, на точку зрения и оттеда, с точки зрения, то — да, индустрия конкретно.

— Конкретно фактически,— строго поправил второй.

— Пожалуй,— согласился собеседник.— Это я тоже допущаю. Конкретно фактически. Хотя как когда...

— Всегда,— коротко отрезал второй.— Всегда, уважаемый товарищ. Особенно если после речей подсекция заварится минимально. Дискуссии и крику тогда не оберешься...

На трибуну взошел человек и махнул рукой. Все смолкло. Только соседи мои, несколько разгоряченные спором, не сразу замолчали. Первый сосед никак не мог помириться с тем, что подсекция заваривается минимально. Ему казалось, что подсекция заваривается несколько иначе.

На соседей моих зашикали. Соседи пожали плечами и смолкли. Потом первый сосед наклонился ко второму и тихо спросил:

— Это кто ж там такой вышедши?

— Это? Да это президиум вышедши. Очень острый мужчина. И оратор первейший. Завсегда остро говорит по существу дня.

Оратор простер руки вперед и начал речь.

И когда он произносил надменные слова с иностранным, туманным значением, соседи мои сурово кивали головами. Причем второй сосед строго поглядывал на первого, желая показать, что он все же был прав в только что законченном споре.

Трудно, товарищи, говорить по-русски!

На протяжении всей своей жизни в литературе Зощенко выступал в защиту живой русской речи: писал статьи, участвовал в дискуссиях. Но все же лучшей защитой русской речи были рассказы, повести, пьесы писателя. «Отличный язык выработали вы, Михаил Михайлович»,— писал А. М. Горький. Сегодня мы знаем: Горький был прав. А когда Зощенко начинал...

Не успел Зощенко напечатать первые рассказы, а критика уже подняла шум: дескать, этот молодой человек нарочно коверкает и ломает прекрасный русский язык, дабы посмешить почтеннейшую публику, а заодно и потешиться, поиздеваться над своим несчастным героем — маленьким человечком, «каких в каждом трамвае по десять штук едут».

Подобные суждения на годы и годы вперед стали как бы рефреном многих критических высказываний о Зощенко. Конечно, не все так думали, не все так писали. Был академик В. В. Виноградов, был Шкловский, позже был Цезарь Вольпе и некоторые другие, которые понимали и высоко оценивали смысл и суть зощен-

ковских языковых новаций, но их голоса тонули в общем критическом хоре, заученно тянувшем одну и ту же песню о Зощенко, чье «злое косноязычие», уже в основе своей враждебное истинной литературе, выдает в нем растерявшегося перед лицом новой жизни, насмерть «перепуганного обывателя».

Можно представить себе самочувствие Зощенко. С великим вдохновением и прилежностью изучал он доселе неведомую литературе речь боковых улочек, вокзалов и рынков — ее конструкцию и тональность, ее обороты, словечки и присказки, и, сев за стол, сумел перевести просторечный говор в русло художественного языка. Сумел! Это неопровержимо доказывала все растущая его популярность у читателей. А вот критика никак не хотела его понять, вешала ярлыки, утверждала, что он «ради самого смеха согласен сделать черт знает что из родного русского языка» (Мастера современной литературы. Мих. Зощенко. Л., 1928, с. 8).

Да, непонимание критикой того, что он делает в литературе, *обижало и угнетало Зощенко*, и попытки бодриться, утешая себя тем, что зато его любят в читательских массах, не вносили спокойствия в его жизнь и работу. Он был очень ранимый, трепетно реагирующий на атмосферу вокруг своего имени человек, и хотя в 1933 году написал, что, в течение долгих лет не попадая в списки даже «заурядных писателей», *он тем не менее «никогда не имел от* этого огорчений»,— это было не так. Зощенко не то чтобы не огорчался — он тяжело переживал пренебрежительное к себе отношение критики и уже со второй половины 20-х годов (свои первые рассказы он опубликовал в 1921-м) пошел, как говорится, на нее войной. Не имея сколько-нибудь существенной поддержки со стороны, он сам встал на свою защиту.

В «Сентиментальных повестях», в «Письмах к писателю» он не только с блестящей язвительностью развенчивал несостоятельность аргументов обращенной к нему «зарвавшейся критики», не только, безмерно грустя, высказывал ей пожелание быть умнее и образованней, любить литературу и понимать время, но и, как бы заменив собою вдумчивого исследователя своего творчества, разъяснял художественные принципы и социальные цели писателя Михаила Зощенко. Это последнее вообще-то делать не рекомендуется. Объяснять — что, как и зачем пишется — не дело самого писателя. Но, наверно, так ему было легче...

*Наиболее раздражающим, истинно больным для Зощенко во*просом, которым он был буквально измучен критикой, был вопрос о его языке: откуда он его взял? зачем этот грубый, неуклюжий и бестолковый по литературным меркам язык попал на бумагу? Стремясь покончить с опостылевшими ему упреками в порче языка, Зо-

щенко писал: «Это неверно. Я почти ничего не искажаю. Я пишу на том языке, на котором сейчас говорит и думает улица.

Я сделал это (в маленьких рассказах) не ради курьезов и не для того, чтобы точнее копировать нашу жизнь. Я сделал это, чтобы заполнить хотя бы временно тот колоссальный разрыв, который произошел между литературой и улицей» (Зощенко Мих. Письма к писателю. Л., 1929, с. 58).

И еще: «Если я искажаю иногда язык, то условно, поскольку мне хочется передать нужный мне тип, тип, который почти что не фигурировал раньше в русской литературе (...)

Вот, в литературе существует так называемый «социальный заказ». Предполагаю, что заказ этот в настоящее время сделан неверно.

Есть мнение, что сейчас заказан красный Лев Толстой.

Видимо, заказ этот сделан каким-нибудь неосторожным издательством. Ибо вся жизнь, общественность и все окружение, в котором живет сейчас писатель,— заказывают конечно же не красного Льва Толстого. И если говорить о заказе, то заказана вещь в той неуважаемой, мелкой форме, с которой, по крайней мере раньше, связывались самые плохие литературные традиции.

Я взял подряд на этот заказ.

Я предполагаю, что не ошибся (...)

Я пишу очень сжато. Фраза у меня короткая. Доступная бедным.

Может быть, поэтому у меня много читателей» (Мастера современной литературы. Мих. Зощенко, с. 8—9, 11).

Зощенко любил повторять, что он не хочет писать для читателя, которого нет. К книге потянулась многомиллионная масса новых, только что прошедших ликбез, читателей — именно для них он и пишет. Этим, вчера лишь постигшим премудрости букваря людям, не под силу справляться с «почти карамзиновским» языком старой литературной школы. Они говорят и думают на другом языке. И выбирают для чтения то, что близко, что похоже на их повседневную речь. Конечно, быть у них на поводу, потрафлять их вкусам, снижаться до их неприхотливого уровня — нельзя. Писатель должен идти не сзади, а впереди читателя, уметь вести его за собой...

Литературный язык не есть нечто раз и навсегда отстоявшееся и окаменелое. Он все время в движении, и это движение должно происходить не за счет большего охвата писателем приемов прежней литературы с ее лексикой, синтаксисом и прочим, а за счет использования ресурсов живой человеческой речи, которая существует, господствует в обществе на данном отрезке времени. Искус-

ственно тормозить этот процесс — значит мало что понимать не только в литературном искусстве, но и вообще в жизни людей.

Критики нередко упрекали Зощенко в том, что он чуть ли не механически переносит на страницы своих рассказов язык улицы — со всеми его неровностями, нелепостями и нагромождением слов, зачастую употребляемых малограмотными людьми «не в том значении, какое им отпущено жизнью». Ослепленные неприятием самого факта столь откровенной демократизации литературной речи, они не хотели понять, что язык произведений Зощенко ни в коей мере не является копией трамвайных и кухонных разговоров, что его речевой строй выборочный, отжатый, вобравший в себя лишь самое характерное, самое яркое из языка, на котором говорят массы, что за каждой с виду простейшей лексической конструкцией проглядывает очень тонкая, с совершенным знанием оригинала, необыкновенно талантливая работа, что Зощенко пишет не так, как говорит улица, а в присущей только ему художественной манере.

Отстаивая свою точку зрения, Зощенко не забывал оговариваться, что он не специалист в вопросах теории, что он практик, но что именно практика доказывает ему правильность выбранного пути. Притом он считал этот путь верным не только для себя: «(...) Перед писателем наших дней, по моему мнению, стоит такая задача: необходимо научиться писать так, чтобы возможно большее количество людей понимало его произведения. Необходимо массу заинтересовать литературой. А для этого нужно писать ясно, кратко и со всей возможной простотой» (Как мы пишем. Л., 1930, с. 57—58).

В начале 30-х годов, когда мало-помалу улеглись вокруг его имени критические страсти, Зощенко на вопрос, кому он адресует свои произведения, ответил так: «Я пишу, я, во всяком случае, имею стремление писать для массового советского читателя.

И вся трудность моей работы свелась главным образом к тому, чтоб научиться так писать, чтобы мои сочинения были всем понятны. Мне много для этого пришлось поработать над языком. Мой язык, за который меня много (зря) ругали, был условный, вернее собирательный (точно так же, как и тип). Я немного изменил и облегчил синтаксис и упростил композицию рассказа. Это позволило мне быть понятным тем читателям, которые не интересовались литературой. Я несколько упростил форму рассказа (инфантилизм?), воспользовавшись неуважаемой формой и традициями малой литературы» (Зощенко Мих. Возвращенная молодость. Л., 1935, с. 232—233).

С упорством проповедника Зощенко не уставал повторять: *простота* и *понятность*...

После Первого съезда писателей, где Зощенко был избран членом правления, тон критики по отношению к нему еще более помягчал, и он обрел, наконец, относительное спокойствие. Однако полемический опыт не пропал даром: он непременный участник частых в те годы дискуссий о путях развития языка художественной литературы. Тогда же он пишет статьи «Основные вопросы нашей профессии», «О языке», «Литература должна быть народной», «О литературном искусстве» и другие, уже сами названия которых говорят о размахе его творческих забот.

Какова роль классического наследия, традиций русской литературы в жизни современного писателя и его книг? Вот, пожалуй, что более всего волнует Зощенко. Суть этих статей, написанных в разные годы и по разным поводам, сводится, в конечном итоге, к одному: остеречь литературную молодежь от слепого подражания классическим образцам. Это не значит, что не надо читать Толстого и Достоевского, не надо у них учиться. Надо. Но с большой осторожностью. Основной материал, с которым имеет дело писатель,— «слово, язык и строй речи, то есть синтаксис» (Зощенко Мих. 1935—1937. Л., 1940, с. 334). И у тех, кто работает в старой традиции, этот материал выглядит старомодным и чересчур сложным. Они пишут так, как будто в нашей стране ничего не случилось. «Тут кроются ошибка и большая беда, потому что прежний строй речи диктует старые формы. А в этих старых формах весьма трудно отражать современную жизнь» (там же, с. 335).

Зощенко утверждал, что критика в некоторых случаях не помогает, а мешает молодым авторам встать на правильную дорогу, потому что, обманутая «признаками классичности», она зачастую превозносит именно тех, кто работает «под классику», эпигонствует, то есть, по его выражению, «плетется в хвосте искусства». Подлинное же искусство, настаивал Зощенко, может рождаться лишь на основе глубокой взаимосвязи художественного опыта прошлого и сегодняшнего знания писателем жизни человека и общества, его умения передать образ мыслей, стиль поведения, заботы и нужды современных жителей города и села, их резко отличный от дореволюционной давности разговорный язык. Зощенко писал: «И если читатель теперь иной, чем он был до революции, если синтаксис его речи иной, если надежды и интересы его иные, то и искусство должно быть иным, не таким, как оно было, и не таким, как его создавали великие мастера прошлого» (там же).

Зощенко решительно выступал против появившегося в середине 30-х годов лозунга «возвращения к классикам». Он писал,

что этот лозунг «скорее можно произнести от отчаяния, чем от больших надежд». Современная жизнь претерпевает резкие изменения в сравнении с жизнью дореволюционного прошлого, и потому новая литература, не обрывая связей со всем тем, что было до ее возникновения, должна «формировать то, что не сформировано прежней литературой (...)». Она должна «формировать то, что еще в хаосе (...)». Она должна «построить такой мир и такую речь», которые были бы рассчитаны «на читателя нашего времени, а не на читателя, умершего до революции» (там же, с. 336).

С большим тактом и деликатностью, что вообще было отличительным свойством его характера, Зощенко в статьях о проблемах, стоящих перед литературой, неоднократно взывал к тонкому, бережливому подходу к писателю и к тому, что он пишет. Наряду с рассуждениями о классике и ее роли как мудрой помощницы современных мастеров слова, не меньшее, пожалуй, место в них занимают мысли писателя о том, каким образом живая литературная речь превращается порой в «мертвый, суконный язык». И кто в этом виноват.

Размышляя на эту тему, Зощенко писал, что в эпоху, когда «произошли величайшие перемены и перестановка сил, язык, весь синтаксис его за годы революции удивительно изменились». Родился и через какое-то время должен отстояться новый язык. Задача писателя не торопиться переносить его в свои произведения, а научиться искусно его фильтровать. Да, случается, через этот фильтр просачиваются «неправильные, пошлые и надуманные слова и выражения (...) Но тут требуется величайшая осторожность. У нас уже имеется некоторая опасность перегиба. Уже многие слова, имеющие право на существование, изгоняются. Уже критика и редакторы косятся на такие, например, слова, как, скажем, «трепаться», «буза» и т. д. Критика желает сразу получить какой-то изящный, утонченный язык. У нас почему-то сразу и вдруг возникли какие-то особо эстетические требования к языку. Это, может быть, и хорошо, но тут нельзя делать слишком резкий разрыв между существующим языком и литературным. Иначе получается, так сказать, «очи» и «глаза» и вообще та поэтическая оторванность, которой всегда избегали наши самые замечательные мастера, как, например, Пушкин. Он старался сблизить свой литературный язык с тем народным языком, который существовал тогда. А не разъединять его. И это было правильно. Вот почему Пушкин до сих пор жив, и до сих пор он любимый писатель в нашей стране» (там же, с. 330).

Но не только именем Пушкина заклинает Зощенко ретивых стражей «чистоты» русской речи. Он просит поддержки и у другого

классика, чей авторитет как родоначальника нового метода в литературе, по его разумению, должен быть уж вовсе непоколебим: «Да, конечно, надо бороться с загрязнением речи (...) И тут требуется огромная и ответственная работа наших редакторов. И я понимаю, почему Алексей Максимович так часто и с такой настойчивостью «громил» редакторов многих книг, говоря, что не рано ли они берутся за столь ответственное дело» (там же, с. 330—331).

Чрезмерная и малоквалифицированная опека писателей, непрофессиональное вторжение в создаваемый ими текст до добра не доводят, утверждал Зощенко. «И если так пойдет (а это уже так идет), то это весьма опасно для дела. С одной стороны, опасно будет взять сколько-нибудь смелый образ, а с другой стороны, и не взять, так, может быть, чего доброго, получится голый натурализм. И, находясь под этим двойным бременем, писатель может прямо растеряться» (там же, с. 343).

Термин «внутренний редактор» в ходу еще не был. Но, говоря о растерянности писателя перед редакторами и критикой, Зощенко имеет в виду именно то состояние пишущего, которое в конце концов приводит к боязни оставить в тексте нерасхожую фразу, поглубже спрятать, а то и вовсе убрать смелую мысль, то есть речь идет об угрозе распространения среди «пишущей братии» такого пагубного для литературы явления, как саморедактирование, когда это делается не из стремления идейно-художественного усовершенствования произведения, а из желания заранее оградить себя от возможных неприятностей в будущем. Зощенко писал: «А писатель с перепуганной душой — это уже потеря квалификации» (Из письма к К. И. Чуковскому. Архив К. И. Чуковского).

Писательская квалификация. Все статьи, все прямые высказывания Зощенко в интервью и беседах, которые публиковались в 30-е годы,— все в той или иной мере об этом: о писательском мастерстве, о том, что сопутствует и что мешает писателю в его работе над словом. Ведь со слова и начинается литература. И кончается им — словом о литературе.

Создавая свои рассказы и повести, Зощенко стремился, как уже было сказано, к максимальной краткости и первым врагом настоящей литературы считал многословие. Он писал: «Многословие и болтовня враждебны искусству литератора (...) Очень многое я могу простить литератору, кроме этого греха». По его мнению, это происходит чаще всего из-за неумения писателя работать над языком своих произведений. Но именно это неумение (или неопытность?), порождающее «многословие и болтовню», как бы поощряется у нас... «системой оплаты литературного труда». «Литера-

турное произведение оплачивается полистно. То есть, чем больше листов, тем больше гонорар (...) Чем больше слов, тем лучше».

А от этого, продолжал Зощенко, страдает и книжное производство, и читатель, и, наконец, авторитет литературы. А кто выигрывает? «От этого выигрывает только тот, кто наделен талантом произносить лишние слова, кто обладает искусством произносить большее количество слов, чем это требуется для искусства».

Литературное искусство и вдруг — какие-то гонорары, деньги! Не бросает ли это тень на Зощенко, о котором сегодня говорят и пишут как о подвижнике, всю свою жизнь положившем на то, чтобы вытравить из людей всякого рода прискорбные пережитки прошлого, в том числе и, как говорится, повышенный интерес к деньгам?

Ну, во-первых, деньги, как в то время, когда Зощенко это писал, так и сегодня,— далеко не пережиток. А во-вторых, начисто лишенный меркантильности, он завел разговор об оплате литературного труда с единственной целью: привести еще один аргумент — и весомый!— в защиту русской литературной речи от тех, кто обращается с ней не по-хозяйски. Он чувствовал себя здесь хозяином...

Михаил Зощенко оставил нам большое наследство: сотни рассказов и фельетонов, повести, пьесы и многое другое. В это «многое другое» входят и его статьи, заметки, беседы о литературе и ее языке. Они никогда не были собраны вместе, под одной обложкой, и со времени их первых публикаций в большинстве своем не переиздавались. Однако, как мог убедиться читатель, высказанные в них мысли и наблюдения Зощенко, не устарели.

Рисунок Н. Белапова

Писать безграмотно — значит посягать на время людей, к которым мы адресуемся, а потому совершенно недопустимо в правильно организованном обществе. Нельзя терпеть неграмотных чиновников, секретарей, машинисток, переписчиков и т. д., и т. д. И, конечно, по мере налаживания жизни, поднятие грамотности будет осуществляться самым безжалостным образом этой самой жизнью: плохо грамотных будут удалять со службы, а то и просто не принимать на службу; при прочих равных условиях предпочтение во всяких обстоятельствах будет даваться более грамотному и т. д., и. д. Если мы не привьем детям грамотности, то мы не создадим общественно полезных работников и не исполним того, чего ожидают от нас жизнь и общество.

Л. В. Щерба

Путь термина в литературный язык

Л. К. Граудина,
доктор филологических наук

Активное взаимодействие стилей литературного языка отражает особенности общения людей в разных областях их деятельности. Начиная с 50-х годов XX века, значительно расширилась сфера влияния НТР, что проявлялось в интенсивном воздействии норм профессиональной речи на нормы литературного языка. Этот процесс происходил и в 60—70-е годы, происходит и сейчас, так сказать, на наших глазах.

Исследовательская и производственная деятельность общества определяет содержание научно-технического стиля речи. При существующем многообразии различных направлений в современной науке и высокой специализации профессиональных областей язык в этих сферах выполняет основную общественную функцию — информативно-коммуникативную. Необходимость взаимопонимания — одно из важных условий охраны литературных норм. В профессиональной речи нормы в целом подчиняются всем закономерностям, действие которых наблюдается и в общелитературном языке. Прогресс науки и техники сопровождается переворотом и в системе профессиональных знаний, и в системе информации.

Организующую роль в языке выполняет грамматика. От грамматических форм зависят и элементы построения речи, и отбор наиболее пригодных в той или иной сфере общения стилистических средств языка. Особенно важна «грамматическая ткань языка, составляющая основу его механизма как выражения мысли» (см.: Винокур Г. О. Культура языка. Изд. 2-е. М., 1929).

Важнейшим следствием совершенствования научно-технической мысли являются изменения в составе и видах наименований новых явлений. В названиях закрепляются сдвиги, происходящие в области автоматизации и кибернетизации, в сфере разного рода

индустриальных систем, в отраслях таких видов общественного производства, как связь, транспорт, область обслуживания, строительство, сельское хозяйство.

Специальная терминология, относящаяся к развивающимся областям человеческой деятельности, особенно активно переходит из относительно замкнутых терминологических систем в область общего употребления, из профессиональной речи в литературный язык. Проблема унификации и нормализации терминологии сейчас привлекает к себе пристальное внимание исследователей. Естественно, что и обратный процесс, связанный с «олитературиванием» терминов, не может не вызвать интереса. Наиболее характерные черты этого явления отмечены учеными-языковедами:

«... если детерминологизация в XIX в. вела к пополнению книжных слоев лексики, то теперь она обычно формирует нейтральные или даже разговорные слои литературной лексики... Переход научно-технических терминов в общее употребление является общеевропейской современной тенденцией» (Акуленко В. В. Вопросы интернационализации словарного состава языка. Харьков, 1972).

Переход терминов из одной стилистической системы в другую и от одного выражения смысла к другому отличается своеобразием. В новой стилистической среде развиваются потенциальные возможности термина, которые определяют его новые синтаксические связи. Он приспосабливается к новым контекстам, которые, в свою очередь, меняют его первоначальное содержание. Не порывая с традицией профессионального употребления, термины служат новым целям, реализуя свои «скрытые» смысловые и стилистические свойства, ограниченные прежде специальной сферой применения.

Можно привести пример со словом *сервис*, заимствованным из специальной экономической литературы. Как известно, его первоначальное значение — переводное: англ. service — «служба, обслуживание». В научной экономической литературе этот термин используется лишь с определенным терминологическим значением — «сфера услуг». В общелитературное и обиходное употребление слово стало входить особенно активно в 60-е годы, хотя еще в 30-е в Толковом словаре под редакцией Д. Н. Ушакова оно было отмечено как новое. Сейчас в слове отчетливо выделяются три значения:

«обслуживание бытовых нужд населения», вот примеры из разговорной речи: «Сервис не очень хорош», «Что же это получается, товарищи, занятые сервисом?» (Из репортажа по телевидению, 1983, 8 янв.);

«совокупность учреждений по обслуживанию нужд населения и созданию удобств для него»: «В сороковые годы многие предприя-

тия сервиса, а мы, кстати, тогда и слова-то такого не знали, работали иначе» (Из репортажа по телевидению на тему «Отпроситься с работы», 1983, 10 янв.) Возникли устойчивые сочетания *транспортный сервис, телевизионный сервис, заводской сервис:* «Но что мешает росту заводского сервиса?.. Перспективы у заводского сервиса хорошие... Особо хочется сказать о юридическом статусе заводской бытовой службы, оплате труда ее работников» (Веч. Москва, 1985, 4 февр.);

«сфера услуг» — это прежде терминологическое значение стало и обиходным: словосочетания *работники сервиса, мастера сервиса, молодые кадры сервиса.* Расширяется семантическая емкость слова; в ряде контекстов оно имеет более обобщенное значение — «сервис как определенная отрасль производства». В современных газетах типично такое, например, употребление: «Большинство юношей и девушек, направленных в индустрию сервиса, закрепляются на новом месте, трудятся инициативно и добросовестно» (Правда, 1982, 26 сент).

Таким образом, термин вышел за рамки первоначального значения: в процессе употребления развились новые значения и новые фразеологические сочетания. С нормативной точки зрения, *неудачным представляется получившее хождение* тавтологическое словосочетание *служба сервиса*, которое не изжито из употребления, несмотря на протесты языковедов: «В службе сервиса, которую развернули камазовцы...» (Всесоюзное радио, 1979, 13 сент.); «Служба сервиса, которая действует в магазине, может принять заказ от населения» (там же, 1985, 9 марта); «По предложению работниц была создана фабричная служба сервиса, облегчавшая женщинам многие домашние хлопоты» (Ригас балсс [Голос Риги], 1981, 25 июня). В свое время выступления против тавтологического сочетания с внутренне противоречивым смыслом *нетканая ткань* возымели действие, теперь употребляют только сочетание *нетканые материалы,* иногда *нетканол,* разг. *нетканка* (более специальная разновидность ткани).

Укоренение новых норм в общелитературном употреблении — процесс длительный, и его проявления многоплановы. Один из аспектов изучения динамики нормы связан с уточнением характера вариантности, сопровождающей появление новых слов. Известно, что неустойчивые варианты слов и форм — спутники неологизмов. Как только появляется слово, оно очень часто вначале испытывает колебания в грамматической форме, орфографии, произношении. Несклоняемые слова типа *сафа́ри* (стиль одежды), *солида́го* (цве-

ток), *каратэ* (вариант *карате*, вид спортивной борьбы) испытывали колебания в согласовании по роду, так как родовая характеристика обобщающего слова не соответствовала среднему роду, привычному для несклоняемых слов: *солидаго расцвел* и *расцвело*. Слово *дискотека* в течение того времени, пока складывались его значения, колебалось в предложных сочетаниях: *идти на дискотеку — идти в дискотеку* и т. д. Подобных примеров можно привести немало.

На определенных этапах развития того или иного научно-технического направления появляются центральные понятия, наиболее характерные для какой-либо разновидности профессиональной речи. Так, ядро НТР составляет автоматизация и кибернетизация — направление, которое сейчас бурно развивается и получает широкий общественный резонанс. Появился новый раздел техники — «антропотехника», то есть технические системы, воспроизводящие и усиливающие функции отдельных органов человека, так же как и модели машин, напоминающих человека. Появились и ряды слов, называющие кибернетические устройства и группирующиеся вокруг определенных понятийных центров. Так, одну из групп наименований составляют слова во главе с понятием «робот». Само слово *робот* зафиксировано еще в 40-е годы: в Словаре иностранных слов 1949 г., II издании БСЭ, 17-томном Словаре (но в Толковом словаре под редакцией Д. Н. Ушакова, том III, 1939, не было отмечено). Однако активизировалось оно лишь в последние десятилетия: вокруг него сформировались другие однокорневые слова; оно обросло новыми сочетаниями и новыми грамматическими формами, еще не включенными в толковые словари. Можно привести наиболее распространенные слова и словосочетания: *промышленные роботы, робот-компьютер; робот-литейщик, -сварщик, -формовщик, -маляр, -механик, -красильщик, -сборщик, -прессовщик, -кузнец, -лесоруб* и т. д.; *робототехника, роботизация производства, робототроение, роботизированный узел, роботизированный цех, роботизированная линия* и др. Некоторые из форм в настоящее время испытывают значительные колебания и нуждаются в оценках с нормативной точки зрения.

Прежде всего, само существительное *робот* колеблется в формах согласования с глаголами по признаку одушевленности — неодушевленности. Неустойчивость грамматической нормы особенно усилилась в связи с распространением слова в языке печати. Для техников слово *робот* стоит в ряду неодушевленных существительных и вступает в синонимические отношения с наименованиями *автоматическое устройство, автоматический манипулятор*, например: «Можно установить робот, манипулятор которого будет про-

верять каждую машину» (За рубежом, 1984, № 6). Журналисты же, пользуясь словом *робот*, постоянно обыгрывают его значение – «автоматический человек, выполняющий сложные операции при помощи телеуправления, производящие впечатление осмысленных человеческих действий». В текстах журнальных и газетных статей «робот» становится как бы живым героем. Вот заголовки статей: «Робот требует работы» (Правда, 1984, 22 авг.); «Робот шагает в лес» (Правда, 1984, 24 дек.); «И послали робота на кухню» (Ригас балсс, 1984, 12 ноября); «Робот любит порядок» (Веч. Москва, 1984, 25 авг.) и т. д.

В общелитературной речи, таким образом, слово вступает в иные синонимические отношения сравнительно с тем, в каких контекстах оно используется в технической речи. Японские рабочие воспринимают механические роботы как живых людей и даже присваивают им имена известных эстрадных певиц и актеров. В детских кинофильмах им также дают человеческие имена, и тем приучают сознание к восприятию слова *робот* как одушевленного существительного. Сложилось отношение к нему как к существительному, хотя и обозначающему неживой предмет, но при этом сохраняющему все морфологические признаки одушевленности. В склонении это проявляется в том, что у слова *робот*, как у всех одушевленных существительных, форма винительного падежа равна родительному: *послать робота, встречать роботов, создавать роботов, загрузить робота, взглянуть на удачных роботов, выпускать роботов* и т. д. «Японские рабочие приветливо встречали роботов, когда те только начинали свое победное шествие по цехам предприятий... Если вы сумеете загрузить робота двадцать четыре часа в сутки, то уже через год он будет работать на вас бесплатно» (Правда, 1984, 11 янв.); «Трудятся роботы. Это наши помощники. Невозможно установить роботов без наших слесарей» (Всесоюзное радио, 1984, 28 ноября).

Вместе с тем нельзя не заметить и другого процесса. Становятся разнообразными и усложняются типы «роботов-автоматов», ничем не напоминающих человека. Норма профессиональной речи, в которой «робот» идет по модели «механизм», а не «человек», все больше укореняется в речи. Стали появляться и такие контексты, в которых слово *робот* склоняется как неодушевленное существительное: «Владельцы японских предприятий начали в массовом порядке внедрять роботы в производство» (Правда, 1984, 11 янв.); «Стали выпускать роботы-манипуляторы» (Всесоюзное радио, 1984, 28 ноября); «Создавать роботы нам пока приходится в долг,— полушутя-полусерьезно говорит Л. Занегин» (Правда, 1984, 24 дек.).

Колебания вариантов по одушевленности — неодушевленности у слова *робот* отчасти поддерживается аналогичным явлением в составе других слов. Существительные *разведчик, истребитель, бомбардировщик, дворник* (устройство для механического протирания смотрового стекла) в тех случаях, когда они обозначают неживые предметы, иногда склоняются по модели одушевленных существительных: *сбить вражеского разведчика, поставить дворника.* Нельзя исключать предположения о том, что может победить профессиональная норма, и у слова *робот* более перспективной окажется склоняемость по модели неодушевленного существительного. Сейчас уже нередки контексты: *установить робот, загрузить робот работой; послать роботы на стройку; создавать, внедрять, строить, использовать, выпускать роботы* и т. д.

У новых сложносоставных существительных, называющих компьютеры наименованиями профессий рабочих (*робот-литейщик, робот-кузнец, робот-маляр* и т. д.), обе части названия не сливаются в одно слово и склоняются каждая отдельно по аналогии с наименованиями рабочих: *механик-водитель*, им. множ. *механики-водители; летчик-инженер*, им. множ. *летчики-инженеры.* Ср. пример: «Гонцы с опытного механического отправляются во все концы, чтобы взглянуть на удачливых роботов. Особенно интересуют роботы-сварщики» (Веч. Москва, 1984, 25 авг.) Но если сочетания типа *роботизированный цех, роботизированный комплекс* преобразуются в сложносокращенные слова типа *роботцех, робот-комплекс,* то первая часть в таких сокращениях не будет склоняться.

Приведем еще один пример. В современной биологии одним из актуальных направлений является генетика — наука о развитии организмов, их изменчивости и передаче наследственных свойств. И центральное понятие «ген» (носитель наследственности), и связанные с ним термины, такие, как *генетический метод, генетическая классификация, генетическая теория,* были широко известны в начале XX века, зарегистрированы и в Толковом словаре под редакцией Д. Н. Ушакова, и в 17-томном Словаре. Вместе с развитием этого научного направления в 60—70-е годы, так же как и в настоящее время, вокруг ключевого слова *ген* сформировались новые термины, широко распространившиеся в печати, но не включенные в толковые словари, например: *геном* (генетический аппарат), *мутагены, мутагенез* (процесс изменения наследственного материала), *онкогены* (так называемые «гены рака»), *генофонд, генетико-селекционная работа, вирусо-генетическая теория*

и т. д. В этой группе в наши дни варьируют относительные прилагательные *генный* и *генетический*: в печати конкурируют сочетания *генная инженерия* и *генетическая инженерия*; *генный банк* и *генетический банк*. Вот например: «В стране, как и во всем мире, успела возникнуть лавина биотехнологических исследований, в том числе и с использованием методов генетической инженерии» (Правда, 1984, 5 дек.); «Методы тканевой культуры и генной инженерии позволяют отделять плохо развивающиеся зародыши картофеля и выращивать их в питательной культурной среде» (За рубежом, 1983, № 44).

Слово *банк* в значении «свод, фонд каких-либо данных, сохраняющихся с информационной, поисковой и т. д. целью (*„банк" данных, банк архитектурных идей, банк информации)*» стало употребляться сравнительно недавно. В словаре-справочнике «Новые слова и значения» (М., 1984) первые газетные иллюстрации к этому значению относятся к началу 70-х годов. Сочетания *генный* и *генетический банк* также относятся к новообразованиям последних десятилетий: «В генетическом банке Международного центра картофеля представлены все восемь его культурных видов и большинство из 154 дикорастущих» (За рубежом, 1983, № 44); «Так „генный банк" на Кубани открыл доступ к зеленым богатствам всех наших республик, всех континентов планеты» (Правда, 1984, 18 янв.)

Сейчас даже и в речи биологов термины *генетическая* и *генная инженерия, генетический* и *генный банк* активно конкурируют, и окончательно ни один из вариантов не утвердился, хотя, по мнению некоторых специалистов, термин *генный банк* должен быть предпочтен. В самом деле, прилагательное *генный*, закрепленное в составе терминологических сочетаний, обладает одним, единственным значением. Являясь по смыслу строго относительным, это прилагательное, производное от существительного *ген*, имеет и производное значение: *генная инженерия* — инженерия, имеющая дело с генами; *генный банк* — банк генов; фонд генов; место их хранения. Тогда как прилагательное *генетический*, имеющее более давнюю историю, чем прилагательное *генный*, обладает большим числом значений. Так, оно является относительным прилагательным к слову *генетика: генетическая теория, генетическая система, генетико-селекционная работа*. Кроме того, прилагательное *генетический* в некоторых сочетаниях связано со словом *генезис: генетическое исследование права наследственности, генетический метод*, в других — и с существительным *ген: генетические операции, генетический материал, генетический аппарат, генетические элементы, генетический код*. Однозначный вариант

генный предпочитается чаще, потому что в сознании с ним не связываются какие-либо другие значения, кроме узкотерминологического, тогда как прилагательное *генетический* многозначно. Смешение значений вариантов, конечно же, нежелательно. Поскольку в языке мотивированность прилагательного *генный* более четко и определенно выражена, в некоторых сочетаниях оно может закрепиться как более предпочтительное. Таким образом, в современном употреблении сосуществуют оба прилагательных — *генетический* и *генный,* хотя и намечается их определенная смысловая специализация.

Языковая структура допускает разную степень вариативности. Прежде чем будет проведено осознанное упорядочение вариантов, то есть ученые-языковеды дадут им в словарях и грамматиках не только развернутое толкование, но и нормативную оценку, происходит стихийный процесс закрепления слов в новых контекстах, сочетаниях, значениях.

Как показано на примере истории слова *сервис,* на пути внедрения в новые стилистические сферы термину становится тесно в рамках специального значения. Проходя определенные ступени смыслового преобразования, он оказывается под давлением стилистических норм литературного языка. Причем преодоление профессионально-технических навыков в употреблении становится одним из важных условий его упрочения в литературном языке. В практике активной нормализации языка необходимо учитывать и мнение ученых-языковедов. Критика ошибочных форм или, наоборот, защита новообразований, так же как и четкие нормативные квалификации новых языковых явлений терминологического происхождения,— дело очень деликатное и трудное, но все же необходимое.

СЛОВАРИ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ

В. Н. Сергеев,
кандидат филологических наук

Советские ученые-языковеды за истекшее 70-летие проделали большую работу в области лексикографии. Не только были переизданы словари прошлых столетий, имеющие определенную научную ценность, но и подготовлены новые словари и справочники по современному русскому языку, русскому языку XI—XVII в. и XVIII в., русским народным говорам, словари переводные, терминологические и др. Среди огромной справочной литературы о русском языке, вышедшей после Великого Октября, большое место занимают словари и справочники, помогающие понять современное состояние языка: значение слов и выражений, правильное их употребление и т. п.

Первым советским нормативным справочником, получившим мировое признание, стал «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова. Словарь подготовила группа филологов, прославившая в дальнейшем советское языкознание и литературоведение,— В. В. Виноградов, Г. О. Винокур, Б. А. Ларин, С. И. Ожегов, Б. В. Томашевский. Словарь выходил с 1934 по 1940 годы (перепечатан в 1947 — 1948 гг.). В него включены слова, употребляющиеся в художественной литературе от Пушкина до Горького, общепринятая лексика научного и делового языка, а также новые слова самых разнообразных сфер употребления. В словаре помещено 85 289 слов. Впервые в русской лексикографии в этом словаре широко и последовательно была введена система стилистических помет. Словарь оказал огромное влияние на дальнейшее развитие словарного дела в нашей стране, на подготовку толковых, двуязычных и других словарей.

На основе словаря Ушакова был подготовлен однотомный «Словарь русского языка». Автором его был С. И. Ожегов. Первое издание словаря вышло под редакцией С. П. Обнорского в 1949 году, 2-е, исправленное и дополненное,— в 1952-м. Однотомник включал в себя 50 100 наиболее употребительных слов с кратким толкованием каждого их значения. В Словаре приводились примеры употребления слов в речи, фразеологические сочетания. При всех словах указывались основные грамматические формы, стили-

стические пометы, а в наиболее трудных случаях и произношение.

После смерти С. И. Ожегова работу по совершенствованию и уточнению Словаря продолжали вести его ученики и коллеги. Справочник, сохранив свое первоначальное название, с 9-го издания стал выходить под редакцией Н. Ю. Шведовой. 18-е издание (1986), содержит около 57 тысяч слов. Это надежное, компактное справочное пособие, которое рассчитано на самый широкий круг читателей.

Сотрудники Института русского языка АН СССР, продолжая лучшие академические традиции, подготовили целый ряд словарей по современному языку. Самым полным является 17-томный «Словарь современного русского литературного языка» (120 480 слов). По замыслу организаторов Словаря, в него включалась только общеупотребительная лексика от Пушкина до наших дней, за его пределами остались слова специальные и областные, устаревшие и жаргонные. Однако полностью выдержать этот принцип авторскому коллективу не удалось. В Словаре встречаются и узкоспециальные слова, и жаргонные, и устаревшие. Впервые в русской лексикографии (в числе завершенных лексикографических трудов) в 17-томном Словаре широко и последовательно показываются разного рода сочетания слов, варианты грамматических форм и ударений и т. п. По многим лексикографическим параметрам этот труд превосходит все предшествующие словари русского языка.

Над 17-томным Словарем трудился огромный коллектив словарников, издательских работников, специалистов многих научных и технических областей, искусства и литературы. За участие в работе над этим Словарем академик С. П. Обнорский, члены-корреспонденты АН СССР С. Г. Бархударов, Е. С. Истрина, Ф. П. Филин, В. И. Чернышев и доктор филологических наук А. М. Бабкин были удостоены Ленинской премии за 1970 год (см.: Русская речь, 1970, № 5).

17-томный Словарь издавался с 1948 по 1965 годы и получил широкое общественное признание. В настоящее время завершена работа авторского и редакторского коллектива над вторым, исправленным и дополненным, изданием этого словаря. Он будет выходить в издательстве «Русский язык». Предполагается, что объем слов составит около 150 000.

Еще во время работы над 17-томным Словарем было принято решение о создании словаря меньшего объема, так как «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова уже устарел и не отвечал современным нормам языка. Новый труд предназначался для широкого читателя. Это «Словарь русского языка»

в 4-х томах (82 159 слов), первое издание его вышло в 1957—1961 годах под редакцией А. П. Евгеньевой. Слова имеют толкования значений, стилистические и грамматические пометы, употребление слов в речи сопровождается иллюстративными цитатами, при заимствованиях отмечается их происхождение. Этот справочник по достоинству был оценен учеными, учителями, писателями, журналистами, однако тираж его был небольшой и словарь не могли иметь все, кто бы хотел работать с ним. Кроме того, как и любой словарь, он нуждался в обновлении состава лексики, в ряде уточнений и исправлений. Поэтому в 1981—1984 годах вышло в свет второе, исправленное и дополненное, издание 4-томного словаря (83 016 слов), в 1985—1987-м — третье, стереотипное.

Советские языковеды уделяют большое внимание культуре устной и письменной речи. С этой целью был подготовлен целый ряд словарей и справочников по современному словоупотреблению. В 1917—1918 гг. была проведена реформа русской орфографии. После нее вышли в свет пособия, отразившие эту реформу. Они были разные по объему и качеству, но, естественно, в полной мере удовлетворить потребность народа не могли. Прежде всего для школы той поры был нужен авторитетный орфографический словарь. По предложению Учпедгиза, составление «Орфографического словаря русского языка» в 30-е годы взял на себя крупный языковед А. М. Пешковский. С его смертью работа временно прекратилась. Работу продолжил Д. Н. Ушаков. В 1934 году вышло первое издание словаря. Он предназначался учащимся начальной и неполной средней школы, но стал настольной книгой учителей, редакторов, писателей и всех тех, кто имел дело со словом.

Этому словарю суждена была большая жизнь: с 1934-го по 1940 год он издавался шесть раз. Активное участие в работе над 7-м изданием принимал С. Е. Крючков, и на обложке словаря стали печатать две фамилии: Д. Н. Ушаков, С. Е. Крючков. После их смерти, отдавая им дань уважения, имена этих двух ученых оставили на титульном листе. С момента выхода первого издания прошло более пятидесяти лет. За это время совершенствовался словарь. Текст 27-го издания, с которого печатались все последующие (38-е изд., 1984), подготовил к печати Л. А. Чешко.

Более полный «Орфографический словарь русского языка» был составлен в 1956 году в Институте русского языка АН СССР. С этого времени он выдержал несколько изданий (24-е, 1986). Если первое издание создавалось на базе словарей В. И. Даля, Д. Н. Ушакова и академической Картотеки, то при подготовке последующих изданий были использованы словари: 17-томный,

4-томный, С. И. Ожегова, иностранных слов, а также Большая Советская Энциклопедия и картотеки. В последнем издании Орфографического словаря 106 тыс. слов. В редактировании его разных изданий участвовали С. Г. Бархударов, С. И. Ожегов, А. Б. Шапиро, И. Ф. Протченко, Л. И. Скворцов.

Оказать помощь в написании слов русского языка могут специальные справочники «Прописная или строчная?» (Опыт словаря-справочника) (1-е изд., 1984, 2-е, стереотипное, 1986) и «Слитно или раздельно?» (Опыт словаря-справочника) (изд. 5-е, 1985). В первом словаре около 8 500 слов и словосочетаний — названия государств, политических партий, организаций, а также революционных праздников, знаменательных дат и т. п. Словарь составлен на основе «Правил русской орфографии и пунктуации» (1956). Во втором справочнике около 82 000 слов, часто встречающихся терминов, где приходится решать вопрос о слитном, раздельном или дефисном написании.

Другим важным справочником, рекомендующим нормы произношения слов русского языка, является «Русское литературное произношение и ударение». Впервые он вышел в свет в 1955 году под редакцией Р. И. Аванесова и С. И. Ожегова. Второе издание было опубликовано в 1959 году, в нем помещено 52 000 слов. Сотрудники Института русского языка АН СССР, коренным образом переработав этот словарь, подготовили новый справочник по произношению и ударению — «Орфоэпический словарь русского языка. Произношение, ударение, грамматические формы» (1-е изд., 1983, 3-е, 1987). Он содержит около 63 500 слов современного русского языка. Этот словарь является общедоступным справочником, который дает ответы на конкретные вопросы о правильном произношении и ударении отдельных слов, о правильном образовании форм слов. Его можно использовать в качестве пособия по общим вопросам русского литературного произношения и ударения, по вопросам формообразования.

Для специалистов — работников радио и телевидения — в 1960 году впервые был издан «Словарь ударений» (5-е, переработанное и дополненное, изд., 1984) под редакцией Д. Э. Розенталя. В последнем издании около 75 000 словарных единиц, которые делятся на два раздела: 1) имена нарицательные и 2) имена собственные (географические названия, фамилии и имена государственных, политических деятелей, ученых, писателей, художников и др. названия зарубежных органов печати, информационных агентств и т. д.). В словаре дается единая произносительная норма для работников радио и телевидения.

Чтобы помочь избежать языковых ошибок, максимально удов-

летворить потребность читателя в овладении культурой речи, в 1962 году под редакцией С. И. Ожегова был подготовлен словарь-справочник «Правильность русской речи», составленный Л. П. Крысиным и Л. И. Скворцовым. В 1965 году вышло 2-е, исправленное и дополненное, издание. Начало было положено. Вслед за этим справочником стали появляться и другие лексикографические пособия по культуре речи: «Краткий словарь трудностей русского языка» (для работников печати, радио и телевидения; 1968), словарь журналиста «Трудности русского языка» (1974), «Трудные случаи употребления однокоренных слов» (1-е изд., 1968, 2-е, стереотипное, 1969), «Словарь трудностей русского языка», составленный Д. Э. Розенталем и М. А. Теленковой (1976), справочное пособие по произношению, ударению и словоупотреблению «Правильно ли мы говорим по-русски?» Л. И. Скворцова (1-е изд., 1980; 2-е изд., 1983).

Важным событием в отечественной лексикографии явился выход в свет в 1973 году словаря-справочника «Трудности словоупотребления и варианты норм русского литературного языка» под редакцией К. С. Горбачевича. Этот словарь был отмечен бронзовой медалью ВДНХ. В Институте русского языка АН СССР закончена составительская работа над «Нормативно-стилистическим словарем русского языка» (руководитель работы Л. И. Скворцов). По замыслу составителей, словарь должен обобщить опыт всей нормализаторской работы в области русского языка в советскую эпоху (см.: Русская речь, 1987, № 2).

Огромную и нужную работу ведут ученые-лексикографы и издательские работники. О результатах их самоотверженного труда неоднократно рассказывала «Русская речь». Читатели могут обратиться к публикациям о жизни и творчестве Д. Н. Ушакова, С. И. Ожегова, Б. А. Ларина, В. В. Виноградова, С. Г. Бархударова, Г. О. Винокура, А. П. Евгеньевой, Ф. П. Филина и других отечественных ученых-языковедов, внесших значительный вклад в словарное дело.

Ленинград

Окончание в следующем номере

КУЛЬТУРА РЕЧИ НА СЦЕНЕ И НА ЭКРАНЕ

Сценическая речь является важным выразительным средством в театре, кино, на телеэкране. В отличие от обыденной речи она обладает рядом особенностей, которые нуждаются в обстоятельном научном анализе. Однако ее систематического изучения в языкознании до последнего времени не было. Этот пробел в исследовании сценической речи попытались восполнить авторы двух сборников, выпущенных издательством «Наука» в 1986 году. В одном из них — «Русское сценическое произношение» (отв. редактор С. М. Кузьмина) — рассмотрены разные аспекты изучения собственно сценической речи: методика ее анализа, лингвистическое описание интонации, особенности произношения стиха на сцене и др.

Актуальным проблемам произношения и словоупотребления посвящен сборник «Культура речи на сцене и на экране» (отв. редакторы Л. И. Скворцов и Л. Н. Кузнецова), вышедший в серии «Культура русской речи». Журнал «Русская речь» знакомил своих читателей с этой серией, которая выходит с 1971 года и включает материалы о вопросах речевой культуры, мало исследованных в лингвистике (информация об одиннадцати сборниках, подготовленных научными сотрудниками отдела культуры русской речи Института русского языка АН СССР, была опубликована в № 4 за 1984 г.).

Сборник «Культура речи на сцене и на экране» открывается статьей члена-корреспондента АН СССР Р. И. Аванесова «Вопросы русского сценического произношения» [в сокращенном варианте была опубликована в журнале «Русская речь» (1981, № 5, 6) под названием «О русском сценическом произношении»]. Автор рассматривает в ней сценическую речь в отношении к стилям произношения, существующим в нашей общественной и бытовой практике. «...Произносительная культура,— подчеркивал Р. И. Аванесов,— в особенности культура речи деятелей сцены, требует постоянного и повседневного труда и внимания, подобно тому как повседневные упражнения

необходимы каждому пианисту или скрипачу для того, чтобы быть в форме при исполнении виртуозных произведений» (с. 19).

В статье этого ученого, одного из крупнейших фонетистов нашего времени, не только анализируется состояние современной речи на сцене и на экране, но и поставлены задачи, которые должны решать исследователи сценической речи и театральные работники — с целью повышения и совершенствования ее. «Несомненно настало время,— пишет автор,— когда требуется составление свода правил современного сценического произношения, который учитывал бы происшедшие в течение XX столетия изменения, с тем чтобы им пользовались преподаватели театральных училищ».

Изменения в русском произношении отразились и на произносительных нормах театра и кино. На большом драматургическом материале в сборнике рассмотрены такие, например, вопросы, как судьба старомосковского произношения в сценической речи, произносительные средства, используемые в речи действующих лиц нерусской национальности, черты разговорной и внелитературной лексики и их художественно-стилистическая функция.

Специальная статья посвящена вопросам культуры речи на экране, в частности языку и стилю синхронных диалогов в дублированных кинофильмах. Авторы рассматривают проблему на материале разных фильмов, особо подчеркивают, как необходимо повышать культуру языка кино: «Наряду с театром, радио и телевидением кино стало законодателем современных литературных норм — орфоэпических, грамматических, лексических. В языке массовой коммуникации наших дней язык кино занимает одно из первых мест. И тем ответственнее роль его творцов и созидателей».

Анализ особенностей сценической речи в сборнике «Культура речи на сцене и на экране» сделан на материале спектаклей, поставленных в театрах Москвы и Ленинграда, Куйбышева и Горького и других городов. Это «Последний срок» В. Распутина (МХАТ имени А. М. Горького), «Варшавская мелодия» Л. Зорина (Московский театр имени Е. Б. Вахтангова и Ленинградский театр имени Ленсовета), художественных кинофильмов «Цирк», «Дорогой мой человек», «Люди в солдатских шинелях» и др.

Наряду с теоретическим материалом авторы сборника дают нормативные рекомендации, которые будут полезны ученым, изучающим сценическую речь, работникам театра и кино разных *профессий*, мастерам художественного слова.

Завершается книга списком литературы по культуре сцени-

ческой речи. В него вошли труды известных ученых-филологов и преподавателей театральных вузов, изданные начиная с 1970 года, а также книги, увидевшие свет в начале века и переизданные в наше время, например «Законы и правила русского произношения» В. И. Чернышева (Пг., 1915).

Сборник «Культура речи на сцене и на экране» адресован деятелям кино и театра, дикторам, учителям русского языка и литературы — всем, кто имеет дело со звучащим словом и призван способствовать повышению и совершенствованию речевой культуры.

Ю. Ф. Хаустова

В. М. Мокиенко. ОБРАЗЫ РУССКОЙ РЕЧИ

Читателям «Русской речи» хорошо известны многочисленные публикации постоянного автора журнала В. М. Мокиенко, посвященные русской фразеологии. В Издательстве Ленинградского университета в 1986 году вышла его новая книга «Образы русской речи», представляющая собой заключительную часть задуманной автором «фразеологической трилогии»: ранее были изданы книги «В глубь поговорки» (М., 1975) и «Славянская фразеология» (М., 1980).

В своей новой книге автор стремился ретроспективно показать, как в русской фразеологии отражается материальная и духовная культура русского народа. Ведь проблема «язык и культура», вот уже в течение двухсот лет привлекающая внимание языковедов, этнографов, историков и собирателей фольклора, не утратила своей актуальности и в наше время. Именно в русской фразеологии можно наглядно увидеть истоки нашей национальной культуры и бытовых представлений. Более того, особую актуальность данная проблема приобретает в связи с ростом популярности русского языка на международной арене и активным изучением его иностранцами.

Книга В. М. Мокиенко содержит очерки происхождения русской фразеологии, удачно сочетая в себе черты подлинной научности и доступности изложения. Автор не замыкается на решении собственно лингвистических проблем, он заинтересованно приглашает читателей принять участие в беседах о фразеологии, побуждает к размышлениям над национальными особенностями русских образных выражений. В книге справедливо замечено, что изучение богатого фразеологического наследия родного языка — это не только лингвистическая, но и патриотическая задача. Такой подход к теме находит свое удачное воплощение и в самих названиях четырех глав книги, вызывающих естественный чи-

тательский интерес: «Освоенное чужое и отчужденное свое», «Понятное в непонятном и непонятное в понятном», «Язычество в языке», «Красное словцо и сказка про белого бычка».

Содержащийся в книге обильный фактический материал убедительно доказывает, что образные выражения только тогда могут стать объективным отражением русской реальности, когда их национальная чистота проверяется с помощью надежного смыслового и этимологического анализа. Показательна в этом отношении история русского фразеологизма *танцевать от печки*, активно употребляющегося в современной разговорной речи. Это выражение обязано своим происхождением широко распространенному в России прошлого века обычаю обучения танцам в дворянских семьях. То, что именно печка стала своеобразной точкой отсчета в танцах, объясняется ее расположением в доме: печка обычно стояла или в углу или недалеко от входной двери, поэтому вся комната была в распоряжении танцующих.

Постепенно первичное значение фразеологизма *танцевать от печки* — «начинать всегда с одного и того же исходного пункта» заменилось более обобщенным, метафорическим значением — «начинать вообще», в котором этот фразеологизм и употребляется в настоящее время. Примечательно, что в современном языке выражению *танцевать от печки* соответствуют не только синонимичные ему русские фразеологизмы *начинать с азов, начинать с азбуки*, но также и латинское *ab ovo* (букв.— от яйца, с яйца) — «начинать сначала». Подобных примеров, свидетельствующих о своеобразном переплетении в русской фразеологии национальных и интернациональных элементов, собрано в книге немало. В частности, автор убедительно доказал, что оборот *взять быка за рога* известен не только в русском языке — соответствующие параллели обнаруживаются в английском, французском, итальянском языках. Давно бытующее в русском фольклоре выражение *птичье молоко*, ставшее символом чего-то очень редкого, было широко распространено у римлян, оно прослеживается во всех славянских и многих других языках.

В книге В. М. Мокиенко последовательно проводится мысль о том, что русская фразеология — это подлинная сокровищница языка, хранящая древнейшие слова, архаичные и грамматические формы и синтаксические конструкции. Она запечатлела как бы в законсервированном виде не только формы фразеологизмов, но также их содержание: здесь и природа, животный и растительный мир (*на чем свет стоит, где раки зимуют*); бытовые представления (*дым коромыслом, попасть впро-*

сак); факты истории (*коломенская верста, казанская сирота*); духовная культура (*бабушка надвое сказала, кисейная барышня*); фольклор (*по щучьему велению*) и многое, многое другое.

Чтение книги, написанной в живой и занимательной форме, может быть дополнено обращением к достаточно полному списку литературы, который помогает расширить представление о трудах, посвященных изучению русской фразеологии. Весьма полезен и указатель образных выражений — он облегчает поиск интересующих читателя фразеологизмов, употребляющихся в славянских и неславянских языках.

А. В. Баранде́ев,
кандидат филологических наук

К ВЫПУСКУ СЛОВАРЯ ДРЕВНЕРУССКОГО ЯЗЫКА XI—XIV ВВ.

В сентябре 1987 г. открывается подписка на Словарь древнерусского языка XI—XIV вв., подготовленный к печати издательством «Русский язык».

Словарь рассчитан на специалистов в области русского, украинского, белорусского языков, литературоведов, историков, археологов, этнографов, а также на преподавателей и студентов филологических факультетов университетов и педагогических институтов. Он, безусловно, вызовет интерес у широкого круга читателей, интересующихся вопросами истории русского языка.

При составлении Словаря древнерусского языка XI—XIV вв. в качестве источников использовались произведения различных жанров этого периода: грамоты (в том числе берестяные), летописи, произведения повествовательной и повествовательно-поучительной, юридической литературы.

По своему типу Словарь древнерусского языка XI—XIV вв.— толково-переводной, т. е. он включает в себя элементы словаря энциклопедического: при толковании слов, относящихся к специфическим элементам древнерусской материальной и духовной культуры, кроме чисто лингвистических сведений, приводятся данные о самом предмете, так называемой реалии.

Словарная статья содержит примеры из памятников разных жанров, приводится самая ранняя фиксация слова, при каждом слове указывается количество его употреблений.

В Словаре читатель найдет слова как вышедшие из употребления, так и слова, существующие сейчас, но изменившие свои значения. Например, всем известное слово *каша*, встретившееся в Новгородской летописи XIII—XIV вв., имело значение «свадебный пир после венчания»; слово *народник* в XIV в.

значило «человек из народа, простой человек, незнатный».

В ряде случаев данные словаря помогают понять структуру слов современного русского языка. Например, слово *разглагольствовать* в Словаре русского языка С. И. Ожегова объясняется так: «Говорить многословно и бессодержательно». Это значение связано с древнерусскими словами *глагол, глаголати* — «говорить».

Словарь древнерусского языка XI—XIV вв. существенно отличается как от известных «Материалов для словаря древнерусского языка» И. И. Срезневского, так и от издающегося в настоящее время «Словаря русского языка XI—XVII вв.». Частично совпадая хронологически, словари не повторяют друг друга ни составом содержащихся в них слов, ни характером использованных источников, ни содержанием и объемом словарных статей.

В Словаре древнерусского языка XI—XIV вв. особенно полно представлена лексика ранних памятников, благодаря чему удалось выявить «редкие» значения многозначного слова, не отмеченные предыдущими словарями. Значительно шире, чем в других словарях, здесь представлена фразеология русского языка XI—XIV вв., а 30 процентов слов, входящих в общий словник словаря, вообще фиксируется впервые.

Словарь древнерусского языка XI—XIV вв. содержит свыше 30 000 слов и состоит из 10 томов объемом 60 авт. л. каждый. Он будет выходить ежегодно, последний том выйдет в свет в 1997 г.

О слове *вообще* в нашей речи

Н. В. Гонгелева,
учительница средней школы

Стоит только прислушаться к речи, которая каждодневно звучит вокруг нас, как можно услышать это *вообще*, произносимое на разные лады. Значит, сомнений относительно его значения и употребления ни у кого нет? Но все-таки, заглянем в словарь. И вот что найдем в 4-томном «Словаре русского языка»: «*Вообще*, н а р еч. 1. По отношению ко всему, во всех отношениях, в общем. 2. При любых условиях, обстоятельствах. 3. При существительном означает: в общем, в целом, не выделяя частности, не касаясь частностей. 4. В сочетании с союзом «и» употребляется для присоединения предложения (или его части), выражающего мысль более общую по сравнению с той, которая выражена в предшествующем предложении (в предшествующей части предложения). 5. Употребляется в значении обобщающего слова перед итогом, заключением».

Теперь рассмотрим два примера: «Я вообще не люблю кино» и «Вообще, я не люблю кино».

Обращает на себя внимание тот факт, что в первом примере слово *вообще* интонационно тесно связано со всем предложением, более того, несет на себе наиболее важную для говорящего информацию, о чем свидетельствует особое ударение на этом слове. Во

втором предложении *вообще* как бы выпадает из ряда слов, в который оно входит: выделяется паузой и более быстрым (или более медленным, что тоже возможно) темпом речи. Такое «поведение» слова заставляет выделять его в письменном тексте запятой.

Но эти два употребления *вообще* различаются не только внешними характеристиками (произнесением и написанием), они имеют и другие, более существенные различия. Оба предложения имеют одинаковый состав, но по смыслу расходятся. Попробуем восстановить речевые ситуации, в которых могли возникнуть такие предложения. В первом случае это может быть диалог:

— Вам нравится новый фильм?

— Я вообще не люблю кино!

Наличие *вообще* в приведенном предложении подчеркивает категоричность всего высказывания (в данном случае отрицание).

Восстановим речевую ситуацию для второго предложения. Это может быть случай, когда кого-то приглашают в кино, а этот последний в ответ на приглашение говорит: «Вообще, я не люблю кино». После такого предложения хочется поставить не точку, а многоточие, так как создается впечатление недосказанности. Предложение хочется продолжить, например, так: «Вообще, я не люблю кино, но с Вами пойду». Употребляя в данном случае слово *вообще*, говорящий не только не стремится в чем-то убедить слушающего, он как бы сомневается в сказанном. «Вообще, я не люблю кино...» — это предложение может быть сказано неуверенным голосом.

Таким образом, эти два *вообще* создают в предложениях разные смысловые оттенки. Прийти к такому выводу нам помогло обращение не к отдельному предложению, а к речевой ситуации, в которой такие предложения могли возникнуть. Если вернуться к словарной статье, то в ней можно обнаружить намек на первый оттенок слова (категоричность): «во всех отношениях, при любых условиях, обстоятельствах». И если *вообще* толковать как наречие (как это делается в словаре), то можно заменить его словами *абсолютно, совершенно.*

Теперь рассмотрим еще одно свойство слова *вообще.* Представим себе следующую ситуацию. Встречаются два человека, и первый второму говорит: «Я вообще не люблю кино» (здесь *вообще* с оттенком категоричности, т. е. произносится под особым ударением и интонационно — паузами — не выделяется). Любому носителю языка такая ситуация покажется странной. В ответ на такую реплику у слушающего правомерен вопрос: «А почему Вы мне это говорите? Я и не пытался утверждать обратное». Чтобы такое предложение не воспринималось как противоречащее языковым

нормам, ему должно предшествовать предложение (или часть предложения, или несколько предложений), в котором уже шла речь, скажем, о кино. Таким образом, слово *вообще* соединяет отдельные реплики (принадлежащие одному говорящему или, как в нашем случае, разным) в связный текст.

Когда говорящий в ответ на приглашение пойти в кино отвечает: «Я вообще не люблю кино», он хочет сказать: «Какие могут быть приглашения, какие могут быть разговоры о кино? Я его вообще не люблю».

Что же касается такой же функции у *вообще* с рассмотренным вторым оттенком — неуверенности высказывания, то она проявляется не с такой степенью обязательности. Чаще всего такое предложение связано с предшествующим текстом, продолжает его. Но вполне возможен и такой случай, когда говорящий начинает свой рассказ, скажем, такими словами: «Вообще, я не люблю кино, но вот попалась мне как-то в руки книга Эйзенштейна... и т. д.» *Вообще* здесь несет на себе печать некоего отчуждения говорящего от своих слов, дает понять слушающему, что он (говорящий) имеет в виду сказать нечто противоречащее ранее высказанной мысли. Оно стоит в одном ряду с такими словами и сочетаниями слов, как *собственно, собственно говоря, вообще говоря*. Это сближает *вообще* с вводными словами, и, следовательно, его надо выделять в письменном тексте запятыми.

Таким образом, слово *вообще* в нашей речи употребляется с разными оттенками — категоричности и неуверенности. Во втором случае оно выступает в функции вводного слова и его следует выделять запятыми. При этом можно использовать такой прием: произнести предложение вслух, если слово *вообще* окажется под ударением, то запятую ставить не надо, а если ударения нет, а есть, напротив, убыстрение (или замедление) темпа речи и пауза, то надо.

Лахденпохья,
Карельская АССР

Рисунок Н. Беланова

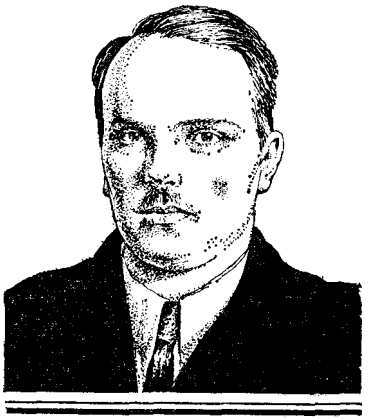
С. С. Высотский — фонетист и диалектолог

1907—1986

В октябре этого года Сергею Сергеевичу Высотскому исполнилось бы 80 лет (он родился в Москве 8 октября 1907 г. в семье учителей). Вся жизнь и творческая биография этого крупного ученого тесно связаны с жизнью и судьбой нашего народа. Он рано начал трудовую деятельность: сразу же после окончания школы работал библиотекарем. В 1926 году С. С. Высотский поступил на литературное отделение педагогического факультета II Московского государственного университета (ныне МГПИ имени В. И. Ленина), который окончил в 1930 году. Затем он продолжил работу: заведовал кабинетом русского языка Всесоюзного коммунистического института журналистики, а потом возвратился к хорошо знакомой ему библиотечной работе: руководил отделом краеведческой литературы Республиканской библиотеки, был библиографом библиотеки Государственного исторического музея, инструктором по библиографической работе в Библиотечном фонде союза транспортных работников.

В 1938 году С. С. Высотский поступил в аспирантуру Института философии, литературы и истории по кафедре славяно-русского языкознания. Научным руководителем его был Д. Н. Ушаков. Интерес к живой народной речи, горячо поддержанный учителем, побудил Сергея Сергеевича избрать темой кандидатской диссертации описание юго-западных подмосковных говоров. Собирая диалектный материал, он исходил пешком почти все Подмосковье, делал бесчисленные блокнотные записи крестьянской речи, уже тогда проявив незаурядные способности. Р. И. Аванесов, выдающийся фонетист и диалектолог, в характеристике, выданной Сергею Сергеевичу в связи с окончанием аспирантской подготовки, так писал в те годы: «Он обладает всеми качествами превосходного диалектолога — тонким слухом, хорошей наблюдательностью, большим тактом в работе с местным населением».

За два дня до начала войны, 20 июня 1941 года, С. С. Высотский защитил кандидатскую диссертацию, но присуждение ученой степени откладывалось —



было трудное военное время,— и состоялось оно лишь в 1946 году. В августе 1941 года Сергей Сергеевич пришел работать на Волхонку, д. 18/2, и этот дом стал для него родным на долгие годы. Здесь С. С. Высотский начал работать младшим, а затем старшим научным сотрудником Института русского языка АН СССР.

В военное лихолетье Сергей Сергеевич жил, как и многие москвичи: копал противотанковые рвы, по ночам дежурил на крыше Института, тушил «зажигалки». Необыкновенные фонетические способности С. С. Высотского и знание славянских языков позволили ему в то время выполнять специальные задания: он слушал радиопередачи из стран, занятых фашистами, и по тонким речевым особенностям дикторов определял их происхождение, делал транскрипции и переводы с разных языков.

После окончания войны, в августе 1945 года ученый возобновил диалектологическую работу, отправившись в экспедицию в Коробовский и Егорьевский районы Московской области. Он посетил знаменитую шахматовскую Леку, позже в книге «Материалы и исследования по русской диалектологии» (т. II. М.—Л., 1949) выйдет его статья «О говоре д. Лека». В этой работе, а также в другой статье, увидевшей свет в то же время,— «Работы Е. Ф. Будде о рязанских говорах в свете новых данных» (Бюллетень диалектологического сектора. Вып. 6. М., 1949) — впервые появились идеи уровневого подхода к анализу фонетических явлений, к чему другие лингвисты придут гораздо позже. А. А. Реформатский весьма высоко оценил этот новый подход (см.: Реформатский А. А. Из истории отечественной фонологии. М., 1970).

Следует признать, что данное направление фонетических исследований, зародившееся почти 40 лет назад, все еще должно завоевывать позиции в науке, поскольку переход от традиционной фонетики словоформы к фонетике фразы (уровневому анализу) равноценен качественному скачку от статики к динамике. Но несомненно, что этому направлению, которое успешно начало развиваться

лишь в последние годы, принадлежит будущее.

Все последующие годы Сергей Сергеевич работал над Диалектологическим атласом русского языка: собирал материал в экспедициях, планировал их маршруты и формировал экспедиционные группы, участвовал в подготовке карт-бланковок для Атласа. Ученый занимался также разработкой лингвогеографической методики, часто выступал с докладами на эти темы на всесоюзных совещаниях.

С. С. Высотский — один из авторов «Атласа русских народных говоров центральных областей к востоку от Москвы» (М., 1957). В 1958 году С. С. Высотский организовал в Институте русского языка Лабораторию экспериментальной фонетики (ЛЭФ). Это была первая лаборатория такого рода в системе Академии наук. Трудился он самоотверженно: один, без помощников, без инженеров (они появились позднее), абсолютно «с нуля» начал планирование, строительство и техническое оснащение, заказал самую современную электро-акустическую аппаратуру для анализа речи. Созданная им ЛЭФ впоследствии послужила образцом для организации многих отечественных фонетических лабораторий. Одновременно ученый осваивал старые методы исследования артикуляции: палатографию, рентгеносъемку, и, конечно, все «примерял» на себя. Находились и другие энтузиасты нового дела, но впереди всегда был Сергей Сергеевич.

В клинике I Медицинского института он сделал массовые рентгеносъемки артикуляции, большую часть материала снял на себе (а ведь способы защиты от излучения в то время были весьма несовершенными). Научными интересами Сергея Сергеевича определяется профиль созданной им лаборатории: здесь разрабатывается новое направление — экспериментально-фонетические исследования в области русской диалектологии. Это отличает ЛЭФ Института русского языка от других лабораторий, работающих на материале фонетики русского языка и языков народов СССР.

Еще раньше, в конце 40-х годов, Сергей Сергеевич начал создавать фонотеку — хранилище звучащих записей устной речи. Первые магнитофонные записи относятся к 1949 году. Основная направленность фонотеки — записи региональных разновидностей русского языка. Позднее возникли и другие направления — русский язык в его функционально-стилевых разновидностях, языки мира и народов СССР, мемориальные записи. Эта фонотека стала настоящим национальным достоянием. В ней хранится более 2000 фонограмм. К ней, как к источнику народной речи, постоянно обращаются самые разные специалисты: преподаватели вузов,

научные работники, актеры и режиссеры, криминалисты.

Круг научных интересов С. С. Высотского был необычайно широк. Русские народные говоры, городское просторечие (говор «московских просвирен»), языки народов СССР, литургическое чтение московских старообрядцев — все это материал для фонетических занятий ученого. Другие области языкознания были ему также близки. К сожалению, он не опубликовал ни одного из своих блестящих этимологических этюдов, все они существовали только в устной форме. Список трудов Сергея Сергеевича сравнительно невелик. Публиковал немного, зато щедро раздаривал свои идеи...

Печатные работы С. С. Высотского далеко не исчерпывают всех его научных достижений. Множество тончайших филологических наблюдений, остающихся неопубликованными, сообщал он своим слушателям на лекциях и докладах, просто в устных беседах, многое осталось в его рукописном наследии. Но каждая работа Сергея Сергеевича была событием. Все они насыщены глубокими идеями, проведены на огромном фактическом материале, поражают своей основательностью и многослойностью — и сейчас в них открываются все новые и новые пласты.

Многих монографий стоит статья С. С. Высотского «Определение состава гласных фонем в связи с качеством звуков в севернорусских говорах» (в сб.: Очерки по фонетике севернорусских говоров. М., 1967). Впервые в русской диалектологии в этой работе было сказано, что фонетические диалектные различия создаются не только за счет различного фонемного состава, но и за счет разных звуковых воплощений фонем (недостаточно установить, например, что в том или ином говоре пять гласных фонем, необходимо выявить их конкретные звуковые реализации, в том числе и в позиции под ударением).

Статья «О звуковой структуре слова в русских говорах» (в кн.: Исследования по русской диалектологии. М., 1973) тоже стоит у истоков целого направления в диалектологии — изучение словесной просодии. Вслед за С. С. Высотским по этому пути устремились многие исследователи. В монографии «Физические основы современных фонетических процессов в русских говорах» (М., 1978) С. С. Высотским написан раздел «Звуковые изменения, не влияющие на основные черты фонологического строя говоров». Это итог его занятий рентгенографией.

Можно назвать еще работы ученого, каждая из которых самобытна и озарена новыми идеями. Вместе с тем почти все фонетические описания языков народов СССР созданы при по-

мощи и активном участии Сергея Сергеевича.

Это был необыкновенный фонетист. Он мог по произношению определить не только из какой области России происходит его собеседник, но и из какого района Москвы: с Арбата, из Замоскворечья. ...Он говорил нам, сотрудникам лаборатории: «Обратите внимание на речь продавщиц ГУМа, как они растягивают предударные гласные, они ведь все коренные москвички». Долгое время ученый жил в Малом Каретном переулке: «Наш дом битком набит балеринами из Большого. Вот они говорят по-настоящему, по-московски: *жырá, шыгй, гóрькый, дóлгый*. Вот кого надо записывать-то!»

Порою казалось, что речевые портреты людей для него были важнее их внешности. Говоря о ком-нибудь, он замечал: «А, это тот, с упередненным вокализмом?», или: «Слышите, какие у нее тусклые свистящие?», или: «Помните, к нам приходила та, с английскими альвеолярными?» и тому подобное. Настоящий профессор Хиггинс! Недаром к нему тянулись все, кто занимается речью: и фонетисты, и физиологи, и работники театра и кино — режиссер МХАТа Богомолов, артисты Нина Гуляева, Галина Польских, Геннадий Хазанов. Частой гостьей лаборатории была народная артистка СССР Е. М. Шатрова.

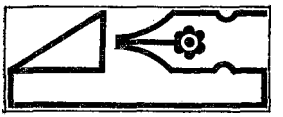
Многое можно вспомнить о необычайной скромности Сергея Сергеевича. Ну, хотя бы вот это. В анкетах на вопрос о степени владения иностранными языками он писал: «Владею немецким, французским (слабо)». При этом он не только свободно читал на этих языках, но и прекрасно говорил. Хорошо знал все славянские языки, а польский и болгарский даже преподавал аспирантам МГПИ имени В. И. Ленина. И бесчисленное множество языков он изучил как лингвист, то есть их основные закономерности, прежде всего, конечно, фонетические. Узбеки, таджики, эстонцы, литовцы, аварцы и марийцы, поговорив с Сергеем Сергеевичем, уходили в полном убеждении, что он знает их родной язык — настолько глубоко было его проникновение в тайны языка.

Он воплощал в себе черты истинного русского интеллигента: безразличие к чинам и званиям, широкую образованность, любознательность и доброжелательное отношение к людям. Речь многих из них, живая, образная, записана С. С. Высотским на магнитофонную ленту и хранится в нашей фонотеке.

Р. Ф. Касаткина,
кандидат филологических наук,
зав. Лабораторией экспериментальной фонетики Института русского языка АН СССР

Природа глазами рассказчика

Ю. А. Печенина



В статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» В. Г. Белинский, приветствуя первые рассказы из «Записок охотника» (1847—1874), писал, что их автор, И. С. Тургенев «любит природу не как дилетант, а как артист, и поэтому никогда не старается изображать ее только в поэтических видах, но берет ее, как она ему представляется. Его картины всегда верны, вы всегда узнаете в них нашу родную, русскую природу...»

В «Записках охотника» Тургенев изображает природу, увиденную глазами рассказчика (охотника),— внимательного и чуткого наблюдателя, для которого каждое, даже самое незначительное ее проявление имеет сокровенный смысл. Этот прием выбран автором сознательно, ибо, по его мнению, «охота сближает нас с природой: один охотник видит ее во всякое время дня и ночи, во всех ее красотах, во всех ее ужасах» (Тургенев И. С. Полн. собр. соч. в 28 тт. Т. 5, М.— Л., 1961, с. 421; в дальнейшем цитируется это издание лишь с указанием тома и страницы).

Обратимся непосредственно к пейзажам Тургенева, прежде всего к небольшим пейзажным зарисовкам, представляющим собой описательные «вкрапления» в художественный текст. Именно они являются тем фоном, на котором автор изображает события, увиденные его рассказчиком, непосредственным участником всего происходящего. Вот две пейзажные зарисовки из рассказа «Стучит!»:

«Ночь была тихая, славная, самая удобная для езды. Ветер то прошелестит в кустах, закачает ветки, то совсем замрет; на небе кое-где виднелись неподвижные серебристые облачка; месяц стоял высоко и ясно озарял окрестность. Я растянулся на сене (...)»;

«Я сел в тарантасе — до тех пор я лежал — и стал глядеть по сторонам. Пока я спал, тонкий туман набежал — не на землю, на́ небо; он стоял высоко, месяц в нем повис беловатым пятном, как бы в дыме. Все потускнело и смешалось, хотя книзу было виднее. Кругом — плоские, унылые места: поля, все поля, кое-где кустики, овраги — и опять поля, и больше все пар, с редкой сорной травою. Пусто... мертво! Хоть бы перепел где крикнул» (т. 4, с. 371, 375).

Выбор каждого слова, каждой синтаксической конструкции здесь строго мотивирован. Ветер изображается через слуховые и

зрительные ощущения рассказчика (*Ветер то прошелестит в кустах, закачает ветки*); месяц в тумане видится ему беловатым пятном (прилагательные с суффиксом *-оват-* — связаны с определенной оценкой цвета: *беловатый* — близкий к белому); абсолютная, устрашающая тишина (во втором отрывке) выражена косвенно, через желание рассказчика услышать хоть какой-нибудь звук, голос живого существа (*Хоть бы перепел где крикнул*). Во второй пейзажной зарисовке изменения в природе переданы с помощью глаголов совершенного вида (*туман набежал, месяц повис, все потускнело и смешалось*).

Обе зарисовки, как, впрочем, и другие пейзажные картины у Тургенева, поражают своей точностью. Так, для изображения ясной и тихой ночи ему достаточно одной фразы: *на небе кое-где виднелись неподвижные серебристые облачка* (неподвижные, потому что ветра почти не было, и серебристые, потому что месяц стоял высоко). Для Тургенева важно не то, каков внутренний мир его героя, когда он так, а не иначе воспринимает окружающую его природу, а то, что́ может увидеть вокруг себя внимательный наблюдатель. А вот его высказывание по этому поводу в письме к М. В. Авдееву: «...меня исключительно интересует одно: физиономия жизни и правдивая ее передача» (Письма, т. 8, с. 172). Но рассказчик у Тургенева отнюдь не беспристрастный наблюдатель, а человек, любящий родную природу, и для него ее жизнь — целое действо, в котором есть свои герои: солнце, ветер, облака, деревья, птицы и многое другое.

Известный филолог В. И. Чернышев, один из первых советских исследователей, обратившийся к анализу языка и стиля произведений Тургенева, писал, что его охотничьи рассказы «до настоящего времени производят впечатление большой свежести и оригинальности ⟨...⟩ Самое характерное и замечательное в изложении „Записок охотника“ — это устремление к читателю; автор не просто описывает или рассказывает — он как бы беседует с вами» (Чернышев В. И. Избранные труды. В двух тт. Т. 2. М., 1970, с. 222—223). Именно благодаря этому повествование у Тургенева приобретает подчас форму естественного, неторопливого разговора с читателем, как, например, при описании пейзажей в рассказе «Бежин луг»: «Солнце ⟨...⟩ мирно всплывает под узкой и длинной тучкой, свежо просияет и погрузится в лиловый ее туман»; «Луны не было на небе: она в ту пору поздно всходила. Бесчисленные золотые звезды, казалось, тихо текли все, наперерыв мерцая, по направлению Млечного Пути» (т. 4, с. 92, 107).

В рассказе «Бирюк», напротив, дается полная движения пейзажная картина: «Гроза надвигалась. Впереди огромная лиловая

туча медленно поднималась из-за леса; надо мною и мне навстречу неслись длинные серые облака; ракиты тревожно шевелились и лепетали. Душный жар внезапно сменился влажным холодом; тени быстро густели (...) Сильный ветер внезапно загудел в вышине, деревья забушевали, крупные капли дождя резко застучали, зашлепали по листьям, сверкнула молния, и гроза разразилась. Дождь полил ручьями» (т. 4, с. 167).

Этот отрывок демонстрирует определенную закономерность: чем динамичнее пейзаж, тем короче предложения; здесь нет больших определительных конструкций, нет сравнительных оборотов. Такое изображение природы не есть собственно пейзаж: это не сосуществование объектов в пространстве,— это действие, разворачивающееся во времени; это не описание природы, а повествование о ней.

Совершенно иной пейзаж открывает рассказ «Свидание». Это впечатления охотника о наблюдаемых им картинах природы:

«Я сидел в березовой роще осенью, около половины сентября. С самого утра перепадал мелкий дождик, сменяемый по временам теплым солнечным сиянием; была непостоянная погода. Небо то все заволакивалось рыхлыми белыми облаками, то вдруг местами расчищалось на мгновение, и тогда из-за раздвинутых туч показывалась лазурь, ясная и ласковая, как прекрасный глаз. Я сидел и глядел кругом, и слушал. Листья чуть шумели над моей головой; по одному их шуму можно было узнать, какое тогда стояло время года. То был не веселый, смеющийся трепет весны, не мягкое шушуканье, не долгий говор лета, не робкое и холодное лепетанье поздней осени, а едва слышная, дремотная болтовня. Слабый ветер чуть-чуть тянул по верхушкам. Внутренность рощи, влажной от дождя, беспрестанно изменялась, смотря по тому, светило ли солнце или закрывалось облаком; она то озарялась вся, словно вдруг в ней все улыбнулось (...); то вдруг опять все кругом слегка синело: яркие краски мгновенно гасли, березы стояли все белые, без блеску, белые, как только что выпавший снег, до которого еще не коснулся холодно играющий луч зимнего солнца; и украдкой, лукаво, начинал сеяться и шептать по лесу мельчайший дождь» (т. 4, с. 260).

Здесь Тургенев значительно увеличивает объем предложений, используя параллельные конструкции (*то... заволакивалось.., то расчищалось...*), развернутые определительные и сравнительные конструкции (*березы стояли все белые, без блеску, белые, как только что...*), сложные союзные соединения. Его рассказчик находит наиболее удачное сравнение, чтобы выразить красоту неба, нежность берез и яркость опавшей листвы. Чтобы точно передать, как

шумели листья над его головой, он сравнивает шум листвы в разные времена года (при этом используется параллельная конструкция в соединении с противопоставлением: *не.., не..; не.., а...*). И это уже не просто описание, а рассуждение: рассказчик как бы объясняет читателю, как по шуму листьев можно узнать, какое стоит время года.

Важно, что источник этих рассуждений — собственные наблюдения и ощущения рассказчика, отмеченные тонкими сравнениями, точными определениями. Там же, где он не является участником событий, читатель не обнаружит даже небольших пейзажных зарисовок, поскольку нельзя передоверить описание природы человеку, равнодушному к ней. В рассказе «Конец Чертопханова» повествование строится на взаимодействии двух точек зрения: действующего лица — Чертопханова и «надстоящего» рассказчика. Причем Чертопханов не рассказывает, а лишь констатирует, поэтому его описание природы сводится лишь к указанию места или времени действия: «Недалеко от опушки леса, куда он привел свою лошадь, тянулся небольшой овраг, до половины заросший дубовым кустарником. Чертопханов спустился туда...» (т. 4, с. 348).

Тургенев стремится заразить читателя той же любовью к природе, какая есть у его рассказчика (Петра Петровича). С этой целью он мастерски использует экспрессивно насыщенные синтаксические конструкции в соединении с разнообразными лексическими средствами. Так, например, в рассказе «Касьян с Красивой Мечи» автор передает ощущения человека, наблюдающего ясное небо сквозь листву деревьев: «Удивительно приятное занятие лежать на спине в лесу и глядеть вверх! Вам кажется, что вы смотрите в бездонное море, что оно широко расстилается *под* вами, что деревья не поднимаются от земли, но, словно корни огромных растений, спускаются, отвесно падают в те стеклянно ясные волны (...) Вы не двигаетесь — вы глядите: и нельзя выразить словами, как радостно, и тихо, и сладко становится на сердце» (т. 4, с. 124).

Венчает тургеневские «Записки» очерк «Лес и степь». Пейзаж в нем вырастает из второстепенного элемента композиции в «основного героя». Лейтмотивом очерка как бы является заключительная фраза эпиграфа: «Там хорошо...», то есть с природой человеку хорошо и весной, и летом, и осенью, и зимой, и днем, и ночью — всегда. Здесь у рассказчика много необычных ощущений, радостного удивления, которые автор передает «открытой формой» — внедрением восклицаний и вопросов, введением элементов диалога: «Знаете ли вы, например, какое наслаждение выехать весной до зари? (...) Свежо, весело, любо! Далеко видно кругом. Вон за рощей деревня (...) Живее, кони, живее! Крупной рысью вперед! (...) Как

вольно дышит грудь, как бодро движутся члены, как крепнет весь человек, охваченный свежим дыханьем весны! (...) Боже мой, как весело сверкает все кругом, как воздух свеж и жидок, как пахнет земляникой и грибами!..»

Чувствуется по всему, что впечатлений у рассказчика так много, что ему трудно с ними справиться, мысли будто набегают одна на другую, принимая форму бессоюзных частей сложного целого, коротких (рубленых) фраз: «Версты три осталось, не больше. Солнце быстро поднимается; небо чисто... Погода будет славная. Стадо потянулось из деревни к вам навстречу. Вы взобрались на гору... Какой вид!» Мысли и слова бегут, рассказчик не успевает закончить одну фразу, как просится другая; в этих случаях состояние взволнованности рассказчика, прерывистость его речи обозначает знак многоточия, использованный в наблюдаемом примере дважды.

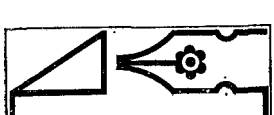
Важным элементом экспрессии в очерке «Лес и степь» является использование в одном текстовом фрагменте глаголов в разных временных формах, что продиктовано стремлением автора расширить временные рамки изображаемого, поскольку природа, по его мысли, вечная и незыблемая категория бытия. Соединяя формы настоящего времени глаголов несовершенного вида и формы прошедшего времени глаголов совершенного вида, Тургенев достигает эффекта присутствия. Читаем: «Лошади звучно шлепают ногами по лужам; кучер посвистывает. Но вот вы отъехали версты четыре... Край неба алеет; в березах просыпаются, неловко перелетывают галки (...) (т. 4, с. 382—385).

Усиливают иллюзию «сиюмоментного» присутствия частицы *вот* и *вон*: «Вот вы сели; Вот заскрипела телега; Вот слабо сверкнула молния; Вон за рощей деревня; Вон над черными кустами край неба смутно яснеет». В приведенных примерах эти частицы многозначны: они придают тексту характер разговорности, являются средством приобщения собеседника к сопереживанию и фиксируют моменты изменения в природе.

Таковы лишь некоторые наблюдения над синтаксисом пейзажных текстов в «Записках охотника» И. С. Тургенева. Эти наблюдения еще раз подтверждают мысль В. В. Виноградова о том, что «состав речевых средств в структуре литературного произведения органически связан с его «содержанием» и зависит от характера отношения к нему со стороны автора» (Виноградов В. В. О языке художественной литературы. М., 1959, с. 91).

«Великий возрастом»

Л. Ф. Фролова



Наименования человека по признаку возраста в современном его понимании — явление довольно позднее не только в языке древней Руси: и «средневековая европейская мысль в целом довольно безразлична к возрастным градациям» (Бирман Ю. Е. Отрок, отрочество. Русская речь, 1984, № 4, с. 98). Исследователи отмечают, что в основе возрастных наименований часто лежит какой-то другой, более древний признак — обозначение человека по его принадлежности к определенному роду, племени, позднее — по социальному положению. У первобытных людей, например, понятие возраста, особенно лиц мужского пола, определяется только как известный «уровень роста или силы» (Е. Гавлова. Славянские термины «возраст» и «век» на фоне семантического развития этих названий в индоевропейских языках.— В кн.: Этимология, 1967. М., Наука, 1969).

Наблюдения над языком памятников древнерусской письменности свидетельствуют о том, что общеславянское по происхождению слово *рост* употреблялось не только для обозначения физической характеристики человека, но вплоть до конца XVII века использовалось со значением «возраст»: «... и в те столники берут боярских и околничих и ближних людей детей, лет по 10 ростом» (Г. Котошихин. О России в царствование Алексея Михайловича).

Заимствованное из старославянского языка суффиксально-префиксальное образование *возраст* в языке восточных славян также функционировало как многозначное: «Радуитеся... всяк реку възраст мужеск и женск, *уноша и старци, в честное успение* богоноснаго отца Авраамиа» (Жития преподобного Авраамия Смоленского и службы ему, XIII в.); «Бе бо Печенег велик и страшен. Выступив Владимиров муж, и въсмеася Печенег узрев его, бе бо средний възрастом» (Переяславльская летопись, XIII в.).

В период формирования языка великорусской народности (XV—XVII вв.) слово *возраст,* продолжая функционировать со значением «рост» (Царевна же Ксения... возрастом ни высока, ни ниска...» — Повесть И. М. Котырева-Ростовского, XVII в.), приобретает уже более конкретное количественно-временное значение, употребляясь преимущественно по отношению к молодым лицам, достигшим возраста физической и социальной зрелости: «А пле-

мянница наша Васса ноне на возрасте, добрые люди к неи присылают свататца»; «а ноне... робята Спирка да Петрунка стали на возрасте и хотят в монастырскую вотчину в село Трофимово во крестьянство...» (Памятники деловой письменности XVII века. Владимирский край. М., 1984).

Данное значение сохраняется в языке довольно длительное время и в производном от *возраст* прилагательном *возрастный,* которое еще В. И. Даль в своем «Толковом словаре живого великорусского языка» разъясняет как «сущий на возрасте, на взросте, юноша».

Многозначное слово *возраст* употребляется в рассматриваемый период часто в сочетании со словом *великий,* тоже имеющем несколько значений: «...осмого, именем Харитона Белоуленева, и не могоша на плаху склонити, бе бо велик возрастом и силен вельми» (Древнерусская повесть про царя Ивана Васильевича и купца Харитона Белоулина. XVII в.); «А как те девицы будут в великом возрасте, и тех девиц и вдов выдают они бояре замуж, с наделком, за своих дворовых слуг...» (Г. Котошихин. О России в царствование Алексея Михайловича).

Употребление сочетания *великий возраст* с временным значением сохранилось в современном русском языке в устойчивом — *великовозрастный:* «Уже академическими стали сетования на чрезмерную «великовозрастность» иных наших «молодых писателей» (Литературная газета, 1979, № 35).

Стремление носителей языка к точному, дифференцированному использованию лексических единиц в период, когда происходит становление норм словоупотребления, способствовало обособлению ранее тождественных по смыслу слов *возраст* и *рост.*

Длительная традиция употребления в языке дала обобщенное значение слову *возраст,* которое стало использоваться как термин. В «Словаре Академии Российской» оно отмечено в сочетании с определениями *младенческий, отроческий, юношеский, мужеский, старческий,* конкретизирующими его возрастное значение.

Прилагательное *возрастной* в современном русском литературном языке имеет обобщенное значение и употребляется в сочетаниях *возрастные изменения, возрастной ценз* и др.

Возникшее уже на собственно русской почве слово *взрослый* (в диалектах еще встречается глагол *взрости*) в наше время содержит более точный смысл и употребляется по отношению к лицам, вышедшим из детского возраста, достигшим зрелости, возмужания.

Душанбе

Мой русский язык

А. К. Михайлов,
якутский поэт

Семьдесят лет тому назад над Петроградом свежий ветер развевал алые стяги знамен Октябрьской революции, навсегда провозгласившей Свободу и Равенство для всех трудовых людей на Земле.

Ветер сегодняшнего дня — сродни ветру революций. В такое время необходимо итожить сделанное, чтобы, правильно оценив его, двинуться вперед. И когда я задумываюсь над своей судьбой, то вижу отчетливо, что ее, как и судьбы всех моих соотечественников, пестовала великая культура великого народа.

Одно из незабываемых воспоминаний детства. Вечер. Трещит печь. За окном — декабрьский мороз. В доме сухо, тепло. Вся наша семья сидит за круглым столом, на который падает свет от абажура. Скоро Новый год. Мы сидим и дружно клеим из картона и фольги елочные игрушки. Вот фигурка молодой женщины с ребенком. Мамина рука ловко вклеивает ее в середину круглой бочки. Звучит негромкий голос: «В синем небе звезды блещут, в синем море волны хлещут. Туча по небу идет, бочка по морю плывет...» Ощущение счастья, гармонии. Так мне и кажется, что с того вечера, когда больше хотелось слушать, чем читать самому, в мою жизнь вошел Пушкин. Все слилось воедино: и ожидание Нового года, и тихая радость семейного круга, и пушкинские стихи.

Пушкин переведен на все языки народов СССР. Через пушкинское слово открывается иноязычному читателю душа русского народа, его история, культура. С чувством благодарности вспоминаю П. Ойунского, И. Чагалгана, Д. Джанглы, С. Данилова, К. Урастырова, М. Тимофеева, сделавших часть пушкинского наследия достоянием якутского народа. Пушкин неисчерпаем. Его надо постигать всю жизнь. Потребность приобщиться к творчеству великого поэта так велика в Якутии, что с каждым годом все больше становится тех, для кого русский язык, наряду с коренным языком, становится таким же родным. Какое это счастье — постигать Пушкина на его родном языке — русском. И нам всем нужно умно заботиться о том, чтобы приобщающихся к такому счастью людей с каждым годом было все больше и больше.

В доме нашем говорили по-якутски, но русский знали все. Ведь вокруг нас жил, работал, пел народ, выстрадавший Победу. Послевоенные мальчишки — бедовый народ, и потому русский язык впитывался в нас не в дистиллированном виде. Я рано выучился

читать на русском. Этому способствовали и отец, и мать, учительница русского языка и литературы. И, конечно, книги. С тех детских пор русский язык — это праздник, который всегда со мной.

Каждое лето меня отправляли в Амгу, на родину отца, где я жил в стихии родного якутского языка. Осенью, возвращаясь домой, замечал, что мыслю по-якутски. Затем вновь происходило «переключение» на русский. До лета. История повторялась. Два сознания, две языковые стихии баюкали мое детство.

Совместная жизнь и учеба с русскими ребятами, затем и работа сформировали мой характер. А русский язык, русская литература открыли передо мной поистине безграничный мир прекрасного — русское изобразительное искусство, музыку, архитектуру, а через них многострадальную и героическую историю русского народа. И сколько раз потом, в различных жизненных обстоятельствах, благоприятных и не очень, я благословлял язык и культуру русского народа, питавших меня и не позволявших согнуться в беде.

Мне часто приходится ездить по стране. И каждый раз — это для меня — счастье. Особенно, когда лечу в Москву, где прожил три удивительнейших, наполненных чувством братства, года. Об этом и мои стихи:

В сердце вспыхнули слова,
В небесах Москвы зарницы:
«Главная моя столица,
Здравствуй, славная Москва!»

Здесь судьба дарует нам
Дружбы чистое признанье,
Родины моей познанье
По сердцам и языкам...

И хотя я пишу по-русски, меня правильно считают якутским поэтом. Потому что язык моего народа, его история и культура вшиты мной.

Слышу чудо русской речи:
Под звездой смежила веки,
Обняла его за плечи,
Шепчет: «Милый мой навеки...»
Русской речи чудо слышу:
В голубом апрельском гуле,
Сбив сосульку с талой крыши,
Сын кричит: «Лови сосулю!»
Слышу чудо русской речи:
Стерхом, что, как снег, сверкает,
Над землей родной якутской
Голос Зыкиной взлетает.
Слышу русской речи чудо:
Рокот «ИЛ»а в поднебесье,
Рельсы, гулкие до гуда,

Проводов стальную песню.
Над морями, островами,
Над шестью материками,
Чудо, ты лети и здравствуй!
Ты душой моею властвуй
И с другими языками,
Как с моим, в свободе братствуй!..

Писатель Сергей Залыгин в книге «Литературные заботы» отмечает, что когда киргиз, азербайджанец, татарин, молдаванин пишет на русском языке, либо переводит на русский язык сам себя, он открывает в этом языке новые возможности, обогащает его своим, тоже новым, отношением к нему. И утверждает, что по поводу каждого такого писателя можно было бы говорить и много, и поучительно. Но, к сожалению, не все принимают тот факт, что многие талантливые писатели, нерусские по происхождению, пишут на русском языке. А ведь это — одна из существенных особенностей, характерных примет многонациональной советской литературы.

Благодарен судьбе, что мои творческие искания одобряли и направляли люди, воспитанные на традициях русской и мировой культуры: поэты Сергей Орлов и Михаил Львов, Марк Сергеев и Анатолий Преловский, писатели Чингиз Гусейнов и Давид Кугультинов, Кайсын Кулиев и Владимир Санги, якутские поэты и писатели — Элляй, Семен Данилов, Кюннюк Урастыров, Амма Аччыгыйа, Суорун Омоллон и многие другие, сердечную благодарность к которым я пронесу через всю мою жизнь.

Когда солнце поднимается над тундрой или тайгой, я часто думаю о том, что русскую культуру можно сравнить только с ним. Она, как солнце, поднимающее травы и согревающее все живое, разгоняет тьму, рождает жизнь, зовет к светлому и доброму.

Русскому человеку —
Сердцу его и силе —
Три с половиной века
Песни якуты поют.
Три с половиной века
В сердце якута — Россия.
Три с половиной века
Рядом с русским якут.

Русские пришли в Якутию, как приходят друзья. И якуты встретили их, как встречают друзей. Русский язык не стал языком-завоевателем, а стал вторым родным языком для сотен тысяч якутов, эвенков, эвенов, юкагиров. Свидетельством тому — многотысячные, растущие тиражи газет, журналов, книг на якутском языке и языках народностей Севера.

Русское — это настолько родное, что его не замечаешь, им дышишь как воздухом. Все привыкли к тому, что русский народ все вынесет, всем поможет, что в трудный час всегда есть на кого опереться. Но всегда ли с таким отношением соседствует чувство благодарности к нашему старшему брату?

Благодарность — великое чувство. Оно делает человека Человеком на этой земле. Благодарность родителям. Родной земле. Родному народу. Русскому народу и его культуре. Великой революции, сроднившей нас в единую семью. И как же надо работать, любить и бороться за счастье жить в этой семье, претворяя свои мысли и чувства в добрые долгие дела!

Якутск

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

«Слово *лес* всем понятно. Но вот хотелось бы узнать о его происхождении»

Л. В. Обухов, *Воронеж*

Слово *лес* — очень древнее, оно представлено во всех славянских языках. Определенной этимологии оно не имеет. Одни ученые связывают его с древнеанглийским laés — пастбище, выгон. Другие считают, что славянское *lěsъ (с первоначальным значением «листва») родственно литовскому laiškas — лист дерева.

Новые подробности о гибели «книгохранительницы» А. И. Мусина-Пушкина в 1812 году

В. П. Козлов,
кандидат исторических наук

Не так давно советская мировая общественность торжественно отметила 800-летие создания «Слова о полку Игореве». Почти двести лет прошло с тех пор как герои, их мысли, поэзия этого величайшего произведения отечественной словесности стали широко известны читателям. Но к восхищению «Словом» вот уже 175 лет неизменно примешивается и чувство горечи за его утрату в огне московского пожара 1812 года. Впрочем, это чувство будет еще более сильным, если мы вспомним, что в «книгохранительнице» А. И. Мусина-Пушкина в двух больших «залах» его дома на Разгуляе хранилось (по новейшим данным) не менее 1200 рукописей: летописей, хронографов, материалов по истории XVIII века, личные архивы историков П. Н. Крекшина, А. А. Барсова, И. Н. Болтина, И. П. Елагина, сочинения писателей Г. Р. Державина, И. П. Богдановича, многих других современников графа.

Иначе говоря, масштабы трагедии, случившейся в доме на Разгуляе, не измеряются только утратой «Слова о полку Игореве». Отечественная наука и культура лишились целого пласта документальных материалов по истории России до XVIII века включительно. В это было трудно поверить даже современникам событий. Не хочется верить и сейчас, когда дымка времени закрыла подробности тех дней. Может быть, поэтому в логике суровых фактов, связанных с судьбой коллекции Мусина-Пушкина, иссле-

дователи не раз пытались найти противоречия, которые могли бы породить надежду на то, что Мусин-Пушкин каким-то чудом уберег ее, спрятав, например, в подвалах дома на Разгуляе.

Однако уже в начале XX века основания для такой надежды оказались существенно поколебленными. В 1902 году в Твери были опубликованы воспоминания княгини С. В. Мещерской, внучки графа Мусина-Пушкина (урожденной княгини Оболенской). В сферу внимания общественности страны эти воспоминания попали в 1912 году, когда отмечалось столетие Отечественной войны 1812 года (в 1947 году о них вновь напомнил П. Н. Берков).

С. В. Мещерская в своих воспоминаниях уделила внимание и событиям того времени в доме на Разгуляе: «1812 год надвинулся и тревожно отразился на всех. Уезжая на лето в Ярославское имение (Иломна.— *В. К.*), когда уже предвиделось вторжение наполеоновских полчищ в Россию, но еще казалось невозможным поражение Москвы, граф из предосторожности убрал драгоценные свои коллекции и рукописи в кладовые. Они помещались в подвальном этаже со сводами, и, по приказанию графа, вход в них был замурован. Когда неприятель уже подвигался за отступающими нашими войсками, граф послал несколько подвод для вывоза из дома всего, что можно; картины были вынуты из рам и скатаны, серебро и мраморные изваяния уложены,— много хорошего, но и много без всякой цены было перевезено в деревню. До запертых кладовых уже не посмели дотронуться.

Несколько семей дворовых людей остались при доме.

Когда французы вошли в Москву, многие из них поместились в Пушкинском доме и побратались с людьми графа. Раз в нетрезвом виде друзья французы хвастались своими ружьями.

«Такие ли у нашего графа? Гораздо лучше!» — Где же? — «Да вот тут за стеной».

Стена была пробита и все разграблено, а позже окончательно погибло в пожаре...

Некоторые рукописи, как то: подлинное «Слово о полку Игореве» и часть Несторовой летописи были спасены от погибели тем, что находились в то время у историографа Карамзина».

Рассказанный Мещерской эпизод порождал у исследователей двойственное отношение. С одной стороны, подробности случившегося заставляли думать, что в основе рассказа есть какая-то доля истины, с другой — рассказ вызывал недоумение указанием на сохранность «Слова» у Карамзина, который, конечно же, не стал бы утаивать древнерусскую поэму после 1812 года. Да и сам Мусин-Пушкин вряд ли остался бы равнодушным к судьбе памятника, когда на его голову посыпались многочисленные обвинения

за то, что он не смог его спасти. Часто встречаясь в Москве с Н. М. Карамзиным, он имел все возможности вернуть принадлежавший ему список поэмы.

В настоящее время мы располагаем рядом ранее неизвестных документов, позволяющих уточнить и дополнить воспоминания Мещерской, внести дополнительные факты в события, развернувшиеся в доме на Разгуляе. Эти документы хранятся в Центральном государственном архиве древних актов в родовом архиве Мусиных-Пушкиных (т. н. «Борисоглебский архив Мусиных-Пушкиных»). Парадоксально, но факт: исследователи, занимавшиеся судьбой «Слова», практически еще не изучали богатейшие материалы Борисоглебского архива, что является, безусловно, одним из величайших недоразумений в историографии древнерусского памятника, а заодно порождает вопрос — не являются ли многие проблемы, связанные со «Словом», плодом нашей беспечности, укоренившегося представления о том, что все материалы, касающиеся поэмы, давно введены в научный оборот. Заблуждение опасное для «науки слововедения».

Материалы по интересующему нас эпизоду представлены в Борисоглебском архиве письмами, реестрами рукописей, имущества и др. (в подлинниках и копиях). Как же рисуют они события 1812 года?

Письмо А. И. Мусина-Пушкина из Москвы от 25 марта 1812 года к среднему сыну Ивану свидетельствует о том, что его в это время чрезвычайно волновали внутриполитические проблемы страны и прежде всего — отставка и ссылка государственного секретаря М. М. Сперанского. «О Сперанском,— пишет он,— узнали здесь от приезже[го], накануне почты. Крайне жаль мне государя, что он такими шельмами был окружен, сколько ему беспокойства!». За этими строками, по существу, скрывался целый период общественной деятельности графа перед 1812 годом. Вместе с Н. М. Карамзиным и некоторыми другими современниками он был одним из членов так называемого «тверского салона» великой княгини Екатерины Павловны, объединившего недовольных преобразовательской деятельностью Сперанского. Именно из «тверского салона» вышла знаменитая «Записка о древней и новой России» Карамзина, содержавшая и критику Сперанского. В марте 1812 года граф должен был быть доволен: под воздействием консервативных кругов русского общества Сперанский был отстранен от государственной деятельности.

Второе письмо графа тому же сыну от 7 июня носило уже несколько иной характер. Наряду с рассказом о хлопотах по обширному хозяйству (строительстве в подмосковном имении Валуе-

во, продаже муки, сборах в традиционную поездку в ярославское имение Иломну), сообщениями о пребывании в Петербурге жены — Е. А. Мусиной-Пушкиной, отъезде в Кисловодск на лечение сыновей Александра и Владимира, в этом письме впервые проскальзывают нотки беспокойства за ход внешнеполитических дел. «Кажется, война по приготовлениям неизбежна»,— делился Мусин-Пушкин своими размышлениями с сыном.

Еще до начала военных действий граф прибыл в Иломну, поручив вести все хозяйственные дела в московском доме своему управляющему Тимофею Шепягину. Уже зная о начале войны, 7 июля граф писал сыну Ивану, находившемуся в Петербурге: «Нетерпеливо жду будущей почты и крайне прошу не пропускать почт и уведомлять, ибо всякой шаг французов и наш теперь крайне важен...». Старшему сыну Александру 15 июля он сообщал в Кисловодск: «Скоро будет генеральная баталия», а спустя чуть более месяца благословляет сына на вступление в Московское ополчение.

С начала августа письма Мусина-Пушкина становятся все более тревожными. Так, 15 августа он писал Александру, что в Ярославле «слухи, будто французы пробираются к Чернигову», а 22-го сообщал Ивану: «Из Москвы все выезжают. По здешнему ополчению хлопот нет числа. Одна теперь надежда на к[нязя] Кутузова: не переменятся ли обстоятельства по приезде его в армию, чего теперь с нетерпением ожидаем». Граф отправляет в Москву 32 лошади, чтобы, по его словам, вывезти оттуда «что есть полутче для сохранения здесь». В день написания августовского письма к Ивану из Москвы в Иломну был отправлен обоз с имуществом графа. В Борисоглебском архиве сохранилась опись этого имущества: «Сундук серебро столовое из горки», «сундук с образами из церкви», «сундук серебро с горки», «ящик с шубами», «сундук серебро столовое», «сундук от Дарьи Яковлевны», «ящик с образами и графской ларец», «графской железной сундук», «шкапик с медалями», «сундук княгини», «ящик из буфету с мелким серебром» и еще один «сундук от Дарьи Яковлевны». Общий вес отправленных вещей составлял свыше 180 пудов, то есть почти три тонны.

К началу сентября перечисленное имущество уже находилось в Иломне. Второй раз в Москву граф послать лошадей уже не успел. В Иломну стали поступать неясные и противоречивые известия о событиях в Москве. Жена Мусина-Пушкина писала Ивану 2 сентября: «Мы большую часть своего имущества теряем в доме московском, не успели ничево кроме серебра перевезти. Картины и библиотека, вся бронза, все осталось». Мусин-Пушкин, уже зная о вступлении в Москву французов, с нескрываемой тревогой

делился мыслями об этом в письме к А. З. Хитрово от 9 сентября: «Несчастие, последовавшее с Москвою, надеюсь теперь и Вам уже известно. Теперь оттуда ни сюда к нам, ни к Вам не будет уже почты. Не знаю, останемся ли мы здесь спокойны, но сомневаюсь по принятым от правительства мерам. Что со всеми нами последует — одному богу известно. Лучшие вещи из московского дому сюда перевезены, но не знаю, что здесь с оными последует, а особливо тогда, ежели нужно мне будет здешнее место оставить».

К середине сентября в Иломне уже знали о судьбе московского дома. Во всяком случае, 16 сентября жена графа писала Ивану: «Мы из дому московскова получили только серебро и вещи 4 сундука, ...протчее все погибло...». 19 октября, уже после бегства французов из Москвы, Мусин-Пушкин послал своего доверенного человека в город, чтобы он «не мешкая донес мне об обстоятельствах, в каких он Москву и дом мой найдет» и одновременно писал управляющему Шепягину: «Бумаги, какие тобою сбережены от злодейского расхищения, привези сюда. Крайне досадно мне, что ты не предпринял мер для сбережения книг и бумаг моих. Ежели Ивану Петрову оные были неизвестны, то тебе стыдно не знать, что для меня было нужно и чем я всегда дорожил». 10 ноября, зная, очевидно, о подробностях гибели «книгохранительницы» и состоянии, в каком находилось московское хозяйство, граф вновь повторил свое недовольство управляющим. «Тимофей Шепягин,— писал он.— Непонятно мне твое поведение и странно, потому что я от тебя того не ожидал: не принял ты ни малейшего участия в отправлении ко мне не токмо имущества, ниже бумаг моих и книг; во время пожара и грабежа не умел ничего нужного мне сохранить, а паче всего книг и бумаг моих, кои тебе больше всех должны быть известны...; с какого резону и по какому позволению распоряжаешь ты моим домом и отдал погреб в наймы, разве для того, чтоб пьяницы и грабители в доме моем имели пристанище. Чтобы того же дня, как сие получишь, высланы были все не принадлежащие мне люди и сволочи».

Приведенные факты говорят о том, что Мусин-Пушкин, предвидя войну с Наполеоном, и в мыслях не мог допустить, что французы, пусть ненадолго, обоснуются в Москве. Не случайно семья графа покинула летом 1812 года город, исходя из личных обстоятельств и планов. В настоящее время трудно сказать, были ли перенесены и замурованы в «подвальных кладовых» картины, библиотека и рукописная коллекция графа, как вспоминала позже Мещерская. Скорее всего нет, ибо, как мы знаем, только 22 августа было принято решение о вывозе из Москвы имущества гра-

фа, которое управляющему Шепягину представлялось наиболее ценным. Возможно, что только тогда по распоряжению Шепягина или письменному указанию Мусина-Пушкина библиотека и рукописная коллекция были перенесены в подвальные кладовые в надежде не только на их сохранение, но и на скорый вывоз. К сожалению, события опередили, возможно, этот план.

Грабеж, пожар не пощадили дом на Разгуляе и остававшиеся в нем коллекции. Как свидетельствует прошение, поданное Шепягиным от имени графа в Московскую полицию, дом «и в нем домовая церковь, в коей, а равно и в доме всякое господское имущество, кладовая и подвал с виноградными винами, разграблены...». Правда, упрек Мусина-Пушкина своему управляющему Шепягину в том, что он не принял надлежащих мер к сохранению дома и имущества, очевидно, не во всем был справедлив. Кое-что Шепягину удалось спасти. С точки зрения хозяйственника, он действовал вполне оправданно, спасая серебро, хрусталь, меха (именно поэтому был спасен «шкапик с медалями» — очевидно, не только награды графа, но и, судя по весу (2 пуда), нумизматическая коллекция Мусина-Пушкина), а также имущественно-хозяйственные бумаги. Сохранившаяся опись их включает 278 номеров документов, перевезенных в Иломну.

Сюда же были доставлены и остатки погибшей библиотеки. Об этом свидетельствует документ, озаглавленный «Русских книг собрание, привезенных после грабительства из Москвы». Перечень их, составленный женой графа, содержит 66 названий. Большинство приведенных названий трудно поддается идентификации, но ясно, что все они были печатные, сохранив следы пожара и грабежа. В их числе «Древняя российская вивлиофика» Н. И. Новикова, «изорванный» «Устав священнослужения», 2-й том «без начала» одного из изданий «Тысячи и одной ночи», «Краткий Российский летописец» М. В. Ломоносова и т. д.

Весьма вероятно, что указанный перечень включил не все сохранившиеся книги Мусина-Пушкина. На эту мысль наталкивает письмо к графу московского купца В. Губкина (апрель 1814 г.). В нем Губкин писал: «Угодно было Вашему сиятельству собственность свою, состоящую из книг, вверить для продажи оной мне, что исполнилось...». Что это были за книги, сказать в настоящее время невозможно. Ясно только, что все они были печатные, а не рукописные.

Рукописная часть «книгохранительницы» Мусина-Пушкина, то есть все то, что представляло особую ценность, оказалась утраченной. Небольшой «фрагмент» коллекции (около 40 рукописей) дошел до нас через собрание Карамзина. Часть рукописей сохра-

нилась в Иломне. В настоящее время нам известно о более 290 рукописях, хранившихся в «книгохранительнице» графа, включая и его собственные труды.

В литературе иногда можно встретить утверждение о том, что Мусин-Пушкин после случившейся в 1812 году трагедии едва ли не разочаровался в жизни, потеряв всякий интерес к происходившим вокруг него событиям. Материалы Борисоглебского архива позволяют решительно не согласиться с этим. Уже в 1814 году, находясь в сожженной, неустроенной Москве, хлопоча о восстановлении сгоревшего дома, граф в письмах к жене показывает себя деятельным, энергичным человеком, держащим руку на пульсе современных событий. «Вчера вечером,— сообщал он жене, например, 14 сентября 1814 года,— заехал я к Карамзиным, которые очень обрадовались, увидя меня. Это был еще 7-й час и я располагал, посидев у них, съездить к архиерею, но и тут я позасиделся, ...приехали Малиновский (директор Московского архива Коллегии иностранных дел, участник первого издания «Слова о полку Игореве».— *В. К.*) с женой, а потому уже и решил я остаться вечер до ужина. Материи были в разговорах очень интересные, то о войне, о Москве, а потом политике, истории и разные происшествия, подлинно примеры не имущие, до 1-го часу».

В период Венского конгресса граф подготовил публицистический трактат «Замечания о границах древней Руси», где, в частности, писал, что «в новейших обстоятельствах, когда российский самодержец побежденным и освобожденным от ига тиранства самодержцам отдает им по праву принадлежащее, самая правда вещает, чтоб и Россия возвратила самую коренную Русь, паки под своею державу».

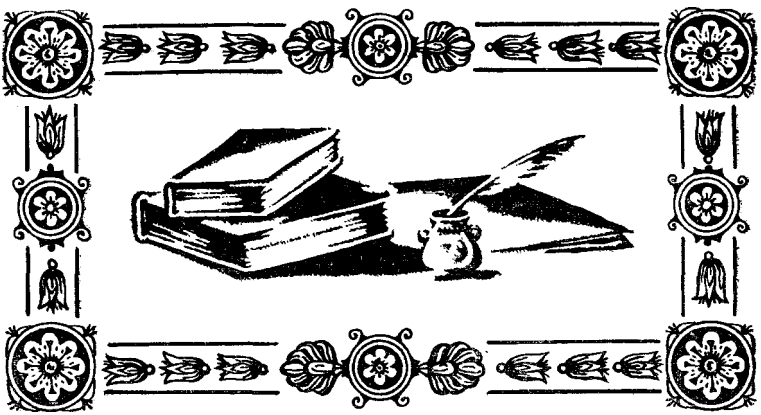
Наконец, Мусин-Пушкин попытался хотя бы частично восстановить свою утраченную коллекцию рукописей. Об этом свидетельствует его прошение на имя великой княгини Екатерины Павловны. В нем сказано: «Граф Мусин-Пушкин имел щастие в разные времена подносить ее императорскому высочеству государыне великой *княгине Екатерине Павловне* печатные и рукописные книги, в числе сих последних были такие, которые никогда не издавались в печать и между прочим описания Ярославской, Тверской и Новгородской губерний, составленные им единственно на случай путешествия ее императорского высочества по сим губерниям. Во время разорения Москвы сгорело с тамошним домом почти все его собрание бесценных древних книг и рукописей и собственных своих записок, из коих поднесенные книги были заимствованы. И потому почитая оные единственными остатками многолетних своих трудов, всепокорнейше просит повелеть ссу-

дить его оными для списания копий, после чего он обязуется паки их возвратить...»

Возвращаясь еще раз к воспоминаниям Мещерской, следует отметить, что описанные ею события в доме на Разгуляе 1812 года оказались достаточно точными. Ясно, что автор излагала не только семейное предание, но и использовала материалы Борисоглебского архива Мусиных-Пушкиных, непосредственно зафиксировавшие напряженную и трагическую обстановку июльских — октябрьских дней. Зато упоминание о сохранности «Слова о полку Игореве» у Карамзина, несомненно, относится к семейному преданию. Источник этого предания восходит к свидетельству племянника Мусина-Пушкина Н. А. Енгалычеву. Именно он в 1844 году в письме к историку М. П. Погодину впервые сообщил о том, что Карамзин еще до 1812 года взял у графа 18 рукописей, которые «увозил с собою из Москвы во время французов и таким образом они уцелели; и когда после кончины дяди моего супруга его графиня Екатерина Алексеевна требовала их от него, он отвечал, что эти книги должны храниться не в частных руках, а в государственном книгохранилище, в каковое, по миновании в них надобности он не преминет их препроводить».

Тот факт, что рукописи графа, находившиеся у Карамзина, не были переданы наследникам Мусина-Пушкина (или во всяком случае им были переданы не все рукописи), и породил столь своеобразную интерпретацию судьбы «Слова о полку Игореве» в воспоминаниях Мещерской. Как это ни печально, но с романтической легендой о возможной сохранности после 1812 года списка памятника, принадлежавшего Мусину-Пушкину, приходится расстаться.

Рисунок С. Гавриловой



К счастью, явился Пушкин

Е. М. Верещагин,
доктор филологических наук

Александр Сергеевич Пушкин всемирно известен как великий русский поэт. Вместе с тем это ученый-историк: из десяти томов академического Полного собрания сочинений два представлены исторической прозой («Исторические записи», «Исторические заметки», «История Пугачева», «История Петра»). А. А. Формозов в обстоятельной книге «Пушкин и древности. Наблюдения археолога» (М., 1979) убедительно доказал: Пушкина по праву можно считать и ученым-археологом. Мы знаем Пушкина-литературоведа и прогрессивного критика. А кому неизвестен Пушкин как неутомимый фольклорист-собиратель? Добавим еще, что великий русский поэт был вдумчивым и глубоким лингвистом.

Известный русский египтолог академик Иван Александрович Гульянов, познакомившийся с Пушкиным в начале 30-х годов, пришел в восторг от языковедческих познаний поэта (об этом см.: Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым в 1851—1860 гг. М., 1925).

Оставленные поэтом заметки и высказывания о языке просто великолепны. Правда, они разрозненны. Однако сошлемся на пушкинский же афоризм: «Всякая строчка великого писателя становится драгоценной для потомства». Поэт имел в виду Вольтера, но афоризм справедлив и по отношению к нему самому.

Попытаемся собрать воедино пушкинские лингвистические статьи, записи, рассказывающие нам об истории развития русского литературного языка. Постигая мысли Пушкина и следуя за ними, открываешь для себя удивительно стройную систему взглядов, весьма созвучную современности.

У истоков нашего литературного языка, как хорошо известно, лежал греческий язык, язык давней культуры и развитой письменности, наследник античности. Братья Кирилл и Мефодий еще в IX веке, создавая первый литературный язык славян, выполнили переводы с греческого, тем самым непосредственно подключив вновь возникший язык к огромному духовному богатству. Древнеславянская книжность перешла на Русь, и Пушкин так оценил значение этого события: «Как материал словесности, язык славяно-русский имеет неоспоримое превосходство пред всеми европейскими: судьба его была чрезвычайно счастлива. В IX веке древний греческий язык вдруг открыл ему свой лексикон, сокровищницу гармонии, даровал ему законы обдуманной своей грамматики, свои прекрасные обороты, величественное течение речи; словом, усыновил его, избавя таким образом от медленных усовершенствований времени. Сам по себе уже звучный и выразительный, отселе заемлет он гибкость и правильность. Простонародное наречие необходимо должно было отделиться от книжного; но впоследствии они сблизились, *и такова стихия, данная нам для сообщения наших мыслей*». Приведенное суждение выписано из небольшой статьи «О Предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова», напечатанной в «Московском телеграфе» в 1825 г. (Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 10 тт., том 7, Л., 1978. Далее цитируется по этой книге).

Оно чрезвычайно интересно, во-первых, потому, что в нем поэтом подчеркнута изначальная связь нашего литературного языка с высокоразвитым источником, давшая колоссальную экономию времени. Слово *усыновление*, удачно найденное Пушкиным, превосходно подходит для точного выражения отношений между культурным языком многовековой традиции и вновь создаваемым, молодым, даже юным книжно-письменным языком восточного славянства. «Сын» наследует лучшие качества «родителя», однако, оказавшись способным к неудержимому росту, не ограничивается ими, а далеко превосходит их.

Во-вторых, в качестве фундамента, несущей основы русского литературного языка названо «простонародное наречие», то есть устная речь крестьянства, и за этим наречием признаются высокие достоинства — звучность и выразительность. Впоследствии

Пушкин будет неоднократно возвращаться к народно-разговорной стихии в составе литературного языка.

Наконец, в-третьих, необходимой частью обработанного, культурного, литературного языка Пушкин считает «книжное наречие», которое «заемлет гибкость и правильность» у языка-предшественника, но затем продолжает развиваться, исходя из собственных, внутренних сил.

А как Пушкин относится к историческому развитию двух «стихий» в рамках общерусского литературного языка? По его мысли, сначала они отделились друг от друга, и в этом немалую роль сыграла южнославянская словесность, тысячу лет назад перенесенная в Киев. Но затем начался длительный и очень интересный процесс их сближения. Не противодействия, не борьбы и не отторжения, а именно сближения. Поэтому и по сей день наш язык выгодно отличается от других славянских языков (в которых был перерыв постепенного развития литературной традиции) множеством гибких синонимов, стилистически окрашенных слов, появление которых обусловлено игрой и взаимодействием «простонародной» и «книжной» стихий. Сравним, например, синонимы и стилистические варианты с неполногласием (южнославянская черта) и полногласием (собственно русская, а точнее восточнославянская черта): *главный* и *головной, гражданин* и *горожанин, древесный* и *деревянный, власть* и *волость, преступить* (закон) и *переступить* (с ноги на ногу), *прохладный* и *холодный, прибрежный* и *береговой, драгоценный* и *дорогой, младенец* и *молодость, преграда* и *перегородка, во здравие* и *здоровье, среда* и *середина.*

Любители футбола и хоккея, может быть, не замечали, что слова *вратарь* и *ворота,* также свидетельствующие о синтезе двух стихий, в конечном итоге возвращают нас на десять веков назад, к начальному этапу становления русского литературного языка.

Сам Пушкин, прошедший обычную для людей его круга школу, хорошо знал славянский книжный язык; у него есть стихотворения, художественный эффект которых обусловлен стилистикой славянизмов, а также особенностями букв славянского алфавита. Так, в ранней редакции третьей главы «Евгения Онегина» (той самой, в которой содержится письмо Татьяны) имеются строки, не вошедшие в основной текст:

В волненье сидя на постеле
Татьяна чуть могла дышать,
Письма не смея в самом деле
Ни перечесть, ни подписать,
И думала: что скажут люди
И подписала: Т. Л.

Читать инициалы Т. Л. (Татьяна Ларина) надо по-славянски, то есть «твердо», «люди», иначе строфа разрушается.

Итак, оценка, данная Пушкиным начальному этапу развития «славяно-русского», или «славяно-росского», литературного языка, не устарела и сегодня. Она не голословна: поэт не просто интересовался древнейшим периодом нашего языка и древнерусской литературой (изучал, например, Изборник великого князя Святослава 1073 года), но и исследовал древние тексты. В частности, его творческое внимание было направлено на «Слово о полку Игореве», и результаты разысканий поэта принимают к сведению современные ученые.

Заметим: возражая уже тогда объявившимся скептикам, Пушкин отклонял версию о подделке текста. «Подлинность же самой песни доказывается духом древности, под который невозможно подделаться. Кто из наших писателей в 18 веке мог иметь на то довольно таланта? (...) Кому пришло бы в голову взять в предмет песни темный поход неизвестного князя? Кто с таким искусством мог затмить некоторые места из своей песни словами, открытыми впоследствии в старых летописях или отысканными в других славянских наречиях, где еще сохранились они во всей свежести употребления?».

Великий поэт вносит свой вклад и в интерпретацию отдельных трудных фрагментов «Слова». Текст первого издания памятника открывается фразой: «Не лепо *ли* ны бяшеть, братие, начати старыми словесы трудных повестий о пълку Игореве, Игоря Святъславлича! начати же ся тъй песни по былинам сего времени, а не по замышлению Бояню».

Пушкин комментирует этот фрагмент так: «Все занимавшиеся толкованием «Слова о полку Игореве» перевели: «Не прилично ли будет нам, не лучше ли нам, не пристойно ли бы нам, не славно ли, други, братья, братцы, было воспеть древним складом, старым слогом, древним языком трудную, печальную песнь о полку Игореве, Игоря Святославича?»

Но в древнем славянском языке частица *ли* не всегда дает смысл вопросительный, подобно латинскому *ne*; иногда *ли* значит *только*, иногда — *бы*, иногда — *же*; доныне в сербском языке сохраняет она сии знаменования. В русском частица *ли* есть или союз разделительный, или вопросительный, если управляет ею отрицательное *не;* в песнях не имеет она иногда никакого смысла и вставляется для меры так же, как и частицы *и, что, а, как уж, уж как...*»

Как видим, поэт подвергает сомнению истолкование первой фразы как вопроса и показывает подлинное значение частицы *ли*,

Последуем далее за мыслью Пушкина-лингвиста и убедимся, что она отличается тщательностью анализа и глубоким знанием дела. «Во-первых, рассмотрим смысл речи. По мнению переводчиков, поэт говорит: Не воспеть ли нам об Игоре по-старому? Начнем же петь по былинам сего времени (то есть по-новому) — а не по замышлению Боянову (т. е. не по-старому). Явное противуречие! Если же признаем, что частица *ли* смысла вопросительного не дает, то выйдет: Не прилично, братья, начать старым слогом печальную песнь об Игоре Святославиче; начаться же песни по былинам сего времени, а не по вымыслам Бояна. Стихотворцы никогда не любили упрека в подражании, и неизвестный творец «Слова о полку Игореве» не преминул объявить в начале своей поэмы, что он будет петь по-своему, по-новому, а не тащиться по следам старого Бояна. Глагол *бяшетъ* подтверждает замечание мое: он употреблен в прошедшем времени (с неправильностию в склонении, коему примеры встречаются в летописях) и предполагает условную частицу: Неприлично было *бы*. Вопрос же требовал бы настоящего или будущего».

Пушкин выступает как подлинный специалист: прибегает к сравнительному анализу, ссылается на латынь, на сербский язык, проводит анализ контекста, анализирует возможности смыслового сочетания прошедшего времени глагола *быти* и частицы *ли*, наконец, он ссылается на психологию художественного творчества. В свете сказанного закономерно, что результат профессионального анализа не может устареть и сохраняет свою ценность для современной науки.

Еще больше интересовал Пушкина XVIII век, Петровская эпоха, переломная для России и в том числе для ее литературного языка. Поэт вполне понимал грандиозность начинаний Петра, преобразователя России, и особо подчеркивал любовь царя к «природному» русскому языку: «Только революционная голова, подобная Мирабо и Петру, может любить Россию, так, как писатель только может любить ее язык». (Граф Мирабо — видный деятель Великой французской революции 1789—1794 гг.. Примечательно, что Пушкин его ставит в один ряд с Петром.) И дальше в той же заметке Пушкин прибавляет слова, которые звучат как действенный призыв: «Все до́лжно творить в этой России и в этом русском языке». Поэт в оценке личности Петра для русского языка и словесности подчеркивает его необыкновенную прозорливость: «Он (Петр I) бросил на словесность взор рассеянный, но проницательный. Он возвысил Феофана, ободрил Копиевича, не взлюбил Татищева за легкомыслие и вольнодумство, угадал в бедном школьнике *вечного*

труженика Тредьяковского. Семена были посеяны. Сын молдавского господаря воспитывался в его походах; а сын холмогорского рыбака, убежав от берегов Белого моря, стучался у ворот Заиконоспасского училища: *новая словесность, плод новообразованного общества, скоро должна была родиться».*

Поэт перечисляет общественных деятелей и ученых, а также писателей Петровского времени, повлиявших на развитие русского литературного языка, причем некоторые названы описательно. «Сын молдавского господаря» — это Антиох Дмитриевич Кантемир, один из основоположников русского классицизма как литературного направления. Классицизм потребовал определенной перестройки языка. Вполне ясно также, кто скрывается под перифразой «сын холмогорского рыбака», стучащийся «у ворот Заиконоспасского училища». Как раз к 100-летию прихода этого «отрока» в Славяно-греко-латинскую академию при Заиконоспасском монастыре Пушкин сочинил торжественные гекзаметры:

Невод рыбак расстилал по брегу студеного моря;
Мальчик отцу помогал. Отрок, оставь рыбака!
Мрежи иные тебя ожидают, иные заботы:
Будешь умы уловлять, будешь помощник царям.

Поэт точно и правильно оценивает особенности вклада М. В. Ломоносова в развитие русского литературного языка: «Слог его (Ломоносова), ровный, цветущий и живописный, заемлет главное достоинство от глубокого знания книжного славянского языка и от счастливого слияния оного с языком простонародным».

Легко заметить, что Пушкин продолжает свой основной взгляд на историю нашего литературного языка как на органичное сближение книжной и разговорной «стихий». В этом отношении он, безусловно, продолжает линию самого Михаила Васильевича, наиболее выпукло отраженную в его «Предисловии о пользе книг церковных в российском языке» (см. об этом подробнее: «Русская речь», 1986, № 6, сс. 11—27).

Но Пушкин не прошел мимо издержек Петровских реформ, в частности, чрезмерного иностранного влияния на русский язык, опять-таки по достоинству выделяя здесь благотворную роль Ломоносова: «В царствование Петра I-го начал он (литературный русский язык.— *Е. В.*) приметно искажаться от необходимого введения голландских, немецких и французских слов. Сия мода распространяла свое влияние и на писателей, в то время покровительствуемых государями и вельможами; к счастию, явился Ломоносов».

Нельзя обойти молчанием отношение Пушкина к Российской Академии — особому, отличному от Академии наук, центру по изучению русского языка и *словесности*; главной задачей *Российской*

Академии было нормирование языка. В отдельной статье, так и озаглавленной — «Российская Академия», поэт пишет: «Екатерина II основала Российскую Академию в 1783 году... Екатерина, стремившаяся во всем установить закон и незыблемый порядок, хотела дать уложение и русскому языку. Академия, повинуясь ее наказу, тотчас приступила к составлению словаря».

Пушкин отчетливо осознавал, в отличие от императрицы, всю масштабность, трудоемкость, а значит, и медлительность такого общенационального дела, как создание полного словаря. Указывая на прецеденты, он пишет: «Французская Академия, основанная в 1634 году и с тех пор беспрерывно занимавшаяся составлением своего словаря, издала оный не прежде, как в 1694». Иными словами, потребовалось 60 лет! Между тем Российская Академия «должна была изумить государыню поспешным исполнением высочайшей ее воли: словарь окончен был в течение шести лет». И действительно, первый том знаменитого «Словаря Академии Российской» вышел в свет в 1789 году, а все первое издание было завершено в 1794.

Итак, подключение к греческому языку, начавшееся через посредство южнославянской книжности, обеспечило древнерусскому литературному языку «чрезвычайно счастливую судьбу». Основной тенденцией развития было первоначальное отделение книжной стихии от народно-разговорной с последующим их гармоничным слиянием. Это явление благотворно сказалось как на лексическом, так и стилистическом богатстве русского литературного языка.

«Двуслиянность» книжно-письменного и народно-разговорного начал нашла свое высшее выражение в Ломоносове, основателе Академии Российской, с деятельности которой началось нормирование языка, сознательное воздействие на него.

Таковы основные черты развития нашего литературного языка до начала XIX века, когда, к счастью, «явился Пушкин» — не сторонний исследователь-наблюдатель, а непосредственный творец русского литературного языка.

Рисунок В. Леонова

„Ступени жизни“ Ивана Дмитриевича Сытина

Е. А. Динерштейн,
кандидат филологических наук

Мемориальная доска на одном из домов в центре Москвы свидетельствует, что в нем «жил известный книгоиздатель-просветитель Иван Дмитриевич Сытин». Точнее вряд ли можно охарактеризовать его деятельность и оценить созданное им предприятие, в котором А. П. Чехов видел настоящее народное дело.

Сын сельского писаря, он прошел суровую и горькую школу жизни. До 18 лет «жил в мальчиках, затем семь лет вел торговое дело», которое, по его словам, кроме профессиональных навыков и физической работы ничего не давало. И лишь в двадцатипятилетием возрасте с помощью П. Н. Шарапова, его крестного отца в книжном деле, открыл в сентябре 1876 года небольшую литографию в районе нынешнего Кутузовского проспекта. В следующем году он переводит ее на Пятницкую улицу и расширяет свое предприятие, успешно используя естественный интерес общества к событиям русско-турецкой войны (1877—1878).

В день объявления войны, вспоминал И. Д. Сытин, «я побежал на Кузнецкий мост, купил карту Бессарабии и Румынии и велел мастеру в течение ночи скопировать часть карты с обозначением места, где наши войска перешли через Прут. В 5 часов утра карта была готова и пущена в машину с надписью: „Для читателей газет. Пособие“. Карта была моментально распродана. По мере движения войск изменялась и карта. В течение трех месяцев я торговал один. Никто не думал мне мешать».

Упрочив таким образом свое положение, Сытин становится одним из наиболее известных издателей книг для народного читателя и в 1882 году на Всероссийской выставке удостаивается

бронзовой медали. Большей награды как сын крестьянина он получить не мог.

Его биография вместе с тем есть и страничка истории русской книги, ибо в значительной мере благодаря его личным усилиям литература для народа, которую принято было называть «Ванькиной литературой», преодолев бессодержательность, стала явлением в культурной жизни страны. И здесь нельзя не сказать о его сотрудничестве с «Посредником» — издательством, созданным небольшой группой энтузиастов, объединившихся вокруг Л. Н. Толстого. Это было взаимополезное сотрудничество. «Посредник» вряд ли бы смог так оперативно и широко развернуть свою деятельность без самоотверженного участия в ней Сытина, а Сытин — столь быстро приобщиться к делам лучших представителей русской интеллигенции.

Знакомство с руководителем «Посредника» В. Г. Чертковым (1854—1936), другом Л. Н. Толстого, а с 1928 года редактором его Полного собрания сочинений в 90 томах, произошло в ноябре 1884 года. Последующее десятилетие их совместной работы Иван Дмитриевич называл «второй ступенью» своей жизни.

В громадных по тому времени тиражах копеечные книжки «Посредника» с произведениями Л. Н. Толстого, Н. С. Лескова, В. М. Гаршина, Г. И. Успенского, А. П. Чехова, В. Г. Короленко, А. И. Эртеля, К. М. Станюковича и других замечательных писателей, врачей, педагогов распространялись по градам и весям Российской империи, несмотря на активное противодействие властей.

Впоследствии, обращаясь к В. Г. Черткову как к своему «духовному учителю, вдохновителю и воспитателю», И. Д. Сытин говорил, что благодаря сотрудничеству с ним он «понял, что такое литература и что значит быть издателем книг для народа».

Последующее сближение с людьми, объединившимися вокруг либеральных «Русских ведомостей» и «Русской мысли», знаменовали, по его словам, «третью ступень» жизни. К ней он подошел, уже имея за плечами громадный опыт и широко известное имя. Чутко улавливая дух времени, Сытин в числе первых русских издателей преобразовал свою фирму в акционерное общество («Товарищество») и взял твердый курс на монополизацию «своего» участка книжного рынка. Понимая, что необходимые для этого средства могут дать лишь сверхвысокие прибыли от массовой газеты или журнала, Сытин предпринимает шаг в этом направлении и с помощью известного московского адвоката Ф. Н. Плевако становится с 1887 года издателем газеты «Русское слово», которая из жалкого консервативного листка превратилась в крупнейшее из-

дание своего времени: в начале 1917 года она имела свыше одного миллиона подписчиков (без розницы).

Сочувственное отношение к революции 1905 года, протесты против национальной политики самодержавия, прозвучавшие на страницах «Русского слова», обеспечили ей симпатии многих тысяч читателей. После Октябрьской революции газета как оппозиционный печатный орган была закрыта, а типография национализирована органами Советской власти. Многие сотрудники редакции не приняли революцию и оказались по другую сторону баррикад. Однако в их числе не было бывшего владельца газеты. И. Д. Сытин не только принял новую власть, он начал активно сотрудничать с ней. И весьма знаменательно, что автором первых книг и листовок, выпущенных им после Октября, был М. Горький.

Чем же объяснить феномен Сытина, миллионера, «русского Форда», как называли его за рубежом, отдавшего свои знания и опыт новой власти? Ведь наивно объяснять этот шаг его крестьянским происхождением. Бесспорно, решающую роль сыграла цель, которой он служил всю свою жизнь,— просвещение родного народа.

Сытин рос вместе со своим делом. Расширяя книжный рынок народной литературы, он более чем кто-либо содействовал демократизации культуры. Вытеснив конкурентов с рынка издания календарей, превратил их в подлинные «народные энциклопедии». Сосредоточив в своих руках выпуск учебной литературы, сделал ее доступной для тех самых «кухаркиных детей», перед которыми царским правительством были закрыты двери школы. Более того, Сытин привлек к изданию букварей и учебников лучших педагогов и ученых. Недаром на протяжении многих лет он был связан более чем деловыми отношениями с Толстым, Чеховым, Горьким, Андреевым, Эртелем, Кони, Вихтеровым, Морозовым, Рубакиным и многими другими русскими писателями, учеными, педагогами. Именно эта сторона деятельности крепкими узами связала его с Родиной. «Коммерция была для него средством, а не целью»,— справедливо писали газеты в дни его полувекового юбилея служения книге.

Один из ближайших сотрудников Сытина А. В. Руманов вспоминал, что «когда кончился срок авторских прав на Гоголя, Сытину его контора представила проект издания полного собрания сочинений писателя в количестве 5000 экземпляров по 2 рубля за экземпляр. Сытин выслушал, надвинул очки на лоб, стал мусолить карандаш, что-то высчитывая на бумажке, и твердо заявил: „Не годится. Издадим двести тысяч по полтиннику". В своем расчете он оказался, конечно, прав». Подобными дешевыми изданиями

ми были выпущены собрания сочинений А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. С. Никитина и других писателей.

Однако было бы ошибкой не замечать, что среди сытинских изданий имелось немало и макулатуры типа всевозможных оракулов, сонников, молитвословов, патриотических лубков и им подобных. Но здесь необходимо помнить о том, что к концу XIX века четыре пятых населения дореволюционной России было еще неграмотно и потребовалось немало усилий, чтобы развить вкус народного читателя, поднять его до Пушкина, Толстого, Гоголя, приохотить к чтению, чтобы человек научился понимать, говоря словами известной поэмы Некрасова, «что книга книге рознь». В этом следует отдать должное Сытину. Он всегда руководствовался правилом: нельзя ждать, когда крестьянин сам придет за книгой, книгу надо нести к нему. Сытин умело организовал путем предоставления широкого кредита целую армию офеней, разносчиков товаров такого рода. Более того, он снизил стоимость за основной вид народных изданий — листовку (брошюра в один печатный лист) до небывалой цены: 80 копеек за сотню, а продавали офени каждую из них не менее чем за копейку.

Издатель всячески стремился улучшить качество лубочной литературы. Еще в начале 80-х годов он выпустил несколько лубков — картин, выполненных М. О. Микешиным (1835—1896), известным русским скульптором, автором проектов памятников «Тысячелетие России» в Новгороде (1862), Б. Хмельницкому в Киеве (1869—1888) и др. И хотя особым успехом они не пользовались, одну из них переиздал в 90-е годы. В 1914 году он предпринял еще одну попытку такого рода: привлек к работе над лубком группу профессиональных художников во главе с Н. К. Рерихом. Но покупатели не приняли модернизированный лубок (за исключением работы Н. К. Рериха «Враг рода человеческого», выполненной в духе средневековой миниатюры и сатирически изображавшей германского императора и прусского короля Вильгельма II в виде дьявола с копытами и длинным хвостом).

Лубочные издания и всякого рода календари долгое время служили «Товариществу И. Д. Сытина» гарантией экономической стабильности. Это дало в конечном счете возможность приступить к широкому выпуску научно-популярной, практической, художественной и детской литературы, среди которой наибольшую известность приобрели такие издания, как посмертное собрание сочинений Л. Н. Толстого, «Военная энциклопедия», «Детская энциклопедия», многотомные труды, посвященные Отечественной войне 1812 года, крестьянской реформе 1861 года и многие другие. Не следует забывать издававшихся в качестве приложений к га-

зете «Русское слово» и журналу «Вокруг света» собраний сочинений многих популярных зарубежных писателей.

Особенно велики его заслуги в издании учебной литературы, выпускавшейся дешево и качественно. Им даже была сделана в содружестве с рядом передовых педагогов попытка образования специального общества «Школа и знание». Оно было призвано подорвать власть монополистов-издателей и выпускать не только учебники, доступные по цене малоимущему люду, но и пособия для сельского учителя. Свыше 400 подобных изданий было выпущено его фирмой до Великой Октябрьской революции, а лучшие из них переиздавались и позднее. Педагоги считали, что сытинские учебники составили эпоху в школьном деле.

Современники, не без основания, обвиняли его в стремлении к монополизации книжного рынка. Да Сытин и сам подчеркивал всероссийский характер своей газеты «Русское слово», первым из русских издателей стал широко выпускать дешевые календари и учебники для «инородцев». Он ставил конечной целью своей деятельности создание первого в России концерна, твердо заявив, что хочет печатать свои книги на своей бумаге, на своих машинах и в своих типографиях и продавать в своих магазинах. Но ведь в царской России только таким путем он и мог сделать их предельно дешевыми и доступными для народа.

Выполняя свои планы, Сытин накануне Октябрьской революции перекупил одну из крупнейших фирм «Товарищество А. Ф. Маркса» и стал владельцем не только самой популярной газеты, но и самого массового журнала «Нива».

Вершиной его мечтаний стала идея создания «Дома книги». Чтобы реализовать ее, он основал «Общество для содействия улучшению и развитию книжного дела в России». В чрезвычайно короткий срок «Общество» собрало более миллиона рублей и купило в Москве на Тверском бульваре обширное земельное владение, предназначенное для строительства «Дома книги». Речь шла о создании первого в России учебно-производственного комбината с научными и экспериментальными лабораториями, призванными создать отечественное полиграфическое машиностроение, совершенствовать и развивать книжное дело.

Прославленный издатель продолжал свое дело и после Октябрьской революции, затем работал консультантом в Госиздате РСФСР. В октябре 1927 года Совнарком «ввиду заслуг Сытина в области издательского дела и народного просвещения» назначил ему персональную пенсию, которая впоследствии дважды повышалась.

С легкой руки известного в прошлом публициста Г. С. Петро-

ва, Сытина часто называли «русским самородком». Природа, бесспорно, наделила Ивана Дмитриевича многими талантами, но тем Сытиным, которого знала не только вся Россия, но и весь мир, он сделал себя сам. Счастливая судьба свела его с крупнейшими писателями, учеными, педагогами страны. Он был сыном своего времени и в достижении жизненной задачи шел, казалось бы, теми же самыми путями, что и все его коллеги-издатели. Их различала только масштабность мышления, деловитость и характер цели, достижению которой Сытин посвятил жизнь. Говоря о его личных качествах, следует прежде всего отметить свойственные ему чувство юмора, способность самокритично оценивать свои действия и определенную твердость, которая ощущалась всегда и во всем. Один из его ближайших сотрудников, известный педагог Н. В. Тулупов писал, что «по душе Сытин был отзывчивый и добрый человек. Говорю это не по отношению к себе, нет. Отзывчивым и щедрым человеком он был и вообще к сотрудникам и рабочим. Правда, в обращении он был часто несдержан и грубоват, но по душе, повторяю, он был прекрасный человек».

Иван Дмитриевич Сытин прожил долгую и беспокойную жизнь. До глубокой старости занимаясь любимым делом, он снискал на ниве народного просвещения заслуженную любовь и уважение современников и благодарную память потомков.

Скончался он 23 ноября 1934 года и был похоронен в Москве на Введенском кладбище.

Хаживал, езживал, видывал...

В. А. Закревская

Да сидит-де старик на добром коне,
Головой-то качат проговариват:
— Да я кольки по святой Руси не езживал,
Такова-то чуда не видывал...
Добрынюшке-то матушка говаривала,
Дай Микитичу-то матушка наказывала:
— Ты не езди-ко далече во чисто полё...

В этих отрывках из онежских былин наше внимание привлекают своей яркостью глаголы *говаривала, не езживал, не видывал*, некогда очень распространенные, а в современном литературном языке почти полностью утраченные.

Так, обратившись к памятникам письменности XV—XVII веков, мы отмечаем довольно широкое употребление подобных глаголов, особенно в текстах канцелярско-делового языка: «А что из старины из Татариновского села и из Бокланова *кашивали* и *пахивали* за Осетром Носовую поляну»; «А сами... озеро Волган неводом *волачивали* и в том истоке рыбу *лавливали* и бобры *бивали*»; «И пчел бортных и хмелю *не дирывали*»; «Его *не бивали* и *не грабливали*»; «у брата ево Ивашкова у Максимка ничево *не купливал*»; «Что к тебе долго *не писывал* воистинно недосуг» и т. п.

Позднее, в XVIII—XIX веках, данные глаголы используются в литературном языке. Они встречаются в авторской речи в публицистических и художественных произведениях. Например, у М. В. Ломоносова: «Карл пятый, римский император, *говаривал*, что ишпанским языком с богом, французским с друзьями, немецким с неприятелем, италиянским с женским полом говорить прилично...» (Российская грамматика, 1755). Или у Н. И. Новикова: «Они в день именин своих *хаживали* к государям с пирогами..,

и сами же государи, уважая сие обыкновение, *хаживали* с пирогами же к патриархам» (Письма. Г. В. Козинскому. СПб., 1773.— Новиков Н. Избранное, М., 1983).

Часто прибегал к указанным глагольным формам А. С. Пушкин. В стихотворении «Вновь я посетил...» читаем: «Я *сиживал* недвижим — и глядел / На озеро, воспоминая с грустью». Или: «Бывало, *писывала* кровью / Она в альбомы нежных дев» (Евгений Онегин); «Я знал любовь, но *не знавал* надежды...» (Князю А. М. Горчакову. Встречаюсь я с осьмнадцатой весной).

Встречаются рассматриваемые глаголы и в пушкинской прозе: «Вошел меньший брат хозяина, мальчик лет семнадцати. Оба брата бывали в Тифлисе и *живали* в нем по нескольку месяцев» (Путешествие в Арзрум...).

В произведениях И. С. Тургенева: «Я, признаюсь, редко *слыхивал* подобный голос...» (Певцы); «Я представил на его рассмотрение один из первых плодов моей Музы, как *говаривалось* в старину,— фантастическую драму...» (Литературный вечер у П. А. Плетнева).

Но уже к концу XIX века такое употребление глаголов в литературном языке идет на убыль, а в XX веке они встречаются лишь в художественной литературе, отражающей народный быт, являясь средством характеристики речи персонажа. Например, в рассказах и повестях В. Белова (см. сб.: Целуются зори. М., 1975; Холмы. М., 1973): «В озере *не живал*, да и в Уфтюгу-то приплыл из душного ручья (ерш)» (Рыбацкая байка); «Ой, бабы, полноте, чего здря говорить. Нюшка матку пальцем *не трагивала*» (Привычное дело); «Дак ты разве *не писывал*? Вон Минька все пишет, до того у его ловко выходит» (Письмо); «Убежал на улицу, будто век *не плясывал*» (Плотницкие рассказы).

Что же это за глаголы? Почему в нормированном языке они заметно угасают и используются лишь как стилистическое средство?

Чтобы ответить на эти вопросы, попробуем объяснить значение данных образований. *Говаривал* — значит несколько или много раз говорил, *не плясывал* — никогда не плясал, *живал* — когда-то здесь жил. В первом и втором случаях глаголы обозначают то, что действие было совершено не один раз, точнее — неопределенное количество раз в прошлом, либо вообще ни разу не совершалось; в последнем случае подчеркивается длительность давнего действия. Такие глаголы называются многократными. Чаще всего они употребляются в прошедшем времени. Главное же в рассматриваемых формах — значение многократного повторения действия.

Что же, литературный язык перестал нуждаться в словах с такой семантикой? Конечно нет. Просто значение повторяемости мож-

но выразить обычным глаголом несовершенного вида в сочетании с наречиями или другими словами, указывающими на количество или степень, например вместо разговорного *ка́шивал* скажем часто или несколько раз косил раньше, вместо *не видывал* — никогда не видел и т. п.

О постепенном вытеснении из нормированного языка многократных глаголов свидетельствуют и словари литературного языка, где число таких слов, как *хаживать, нашивать, езжать* (*езживать*), *бегивать, певать, говаривать, сиживать, леживать, видывать, слыхивать*, весьма невелико. Действительно, частотность их употребления в литературном языке заметно снижается, но в северно-русских говорах многократные глаголы еще очень живое явление. Этот факт подтверждают диалектные записи для «Архангельского областного словаря», четыре выпуска которого уже увидели свет (1980, 1982, 1983, 1985).

Как показывают наблюдения, многократные глаголы образуются в основном от глаголов несовершенного вида, имеющих значение конкретного физического действия, движения или речи, с помощью суффиксов *-а, -ва, -ива*(*-ыва*): *сутки, двои не едал; век никто не бывал; за мужика рабатывала* и др.

Образование многократных глаголов обычно сопровождается чередованиями в корне слова или на стыке корня и суффикса: *спорил — спаривал, трогал — трагивал; держал — дярживал, драл — дирал, косил — кашивал* и т. п.

Интересно, что глаголы с суффиксом *ев-а* в литературном языке не образуют многократных форм, которые встречаются в диалектах (с чередованием или без него), например: *ночевать — ночеивать* (*В байнах-то ночеивала*); *воевать — воя́ивать* (*Тот век не воя́ивал...*). Наблюдаются и чисто диалектные образования на *-выва, -ивлива: отец нас не би́вывал; Я у мамы не спроши́вливала; Ей один раз в жизни попала красна рыбинка, мне тоже попады́вала.*

Многократные глаголы особенно часто используются в конструкциях с отрицанием: *нигде не блу́живала* (в лесу); *век не кра́шивалась.* Или, например, в вопросительных предложениях: *Едала свежу рыбку-то? И ты больше с тех пор не стига́ла*? В этих случаях обычно устанавливается факт хотя бы одного проявления действия в прошлом.

Многократные глаголы употребляются и в других формах времени и наклонения: *А ему не жа́ниваться* (инфинитив); *Выкрашен потолок и не ми́ван век* (причастие); *Я все по-старинному гова́риваю; Я уж не знаю, девка, не спа́риваю; Сижу да плакиваю* (настоящее время); *Дошшоцька была узенька, бирай знай* (повелительное наклонение).

Примеры употребления многократных глаголов в формах настоящего, будущего времени, а также повелительного наклонения свидетельствуют о том, что они начинают утрачивать свойственное им значение неоднократной повторяемости действия в прошлом, приближаясь к обычным глаголам несовершенного вида. Об этом же говорит и их использование в форме прошедшего времени в таких ситуациях, когда ясно, что речь идет не о повторяющемся, а об единичном действии. Например: «Я раз только мывалась в той байны»; «Мы раз га́дывали»; «Сла́ва вечёр гова́ривал» (в этом случае действие отнесено к ближайшему прошлому, что также не является функцией собственно многократных форм).

Часто в одном контексте мы встречаем и обычный глагол несовершенного вида: «Я чи́тывала, люблю газеты читать»; «Только раз один купалась, больше не ку́пывалась»; «Я на веку не у́живала, дак не умею у́дить».

На первый взгляд кажется, что в говорах, как и в литературном языке, многократные глаголы утрачиваются постепенно. Однако трудно сказать, как этот процесс будет развиваться в дальнейшем, пока что это явление достаточно продуктивно в диалектах. Более того, круг многократных глаголов, как показывают наблюдения, расширяется за счет приставочных образований: «Вот дожи́дываю, должны приехать скоро»; «Больше не посы́лывал»; «Не назы́вала ни мамой, ни бабушкой» и т. п.

Тюмень

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

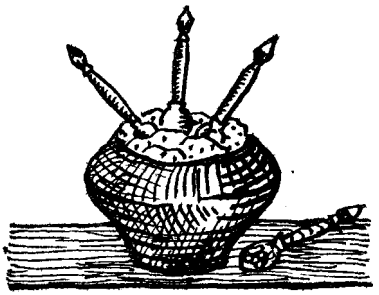
«Сказал недавно своему товарищу: *Займи мне денег*. А он отвечает: «Деньги я тебе одолжу. Займи — это неправильно. Так ли это?»

Н. М. Колесов, *г. Можга, Удмуртской АССР*

В обиходно-разговорной речи глагол *занять* неправильно употребляется вместо слова *одолжить*, т. е. в значении, прямо противоположном общелитературному: «дать взаймы, в долг кому-нибудь». В языке художественных произведений, начиная с XIX века, это выражение используется для характеристики речи персонажа как типичный языковой провинциализм (см.: Л. И. Скворцов. Правильно ли мы говорим по-русски? II изд., М., 1983).

«Где горшок с кашей...»

В. Н. Вакуров,
доктор филологических наук



Каша — одно из главных и любимых блюд наших предков. Это подтверждают русские поговорки: *Без каши обед короткий; Каша сама себя хвалит; Хороша кашка, да мала чашка; Где горшок с кашей, там и мы ваши.*

Больше того, каша — признак достатка, семейного согласия и благополучия: в краснодарских говорах отмечен фразеологизм *жить на кашу без худобы* в значении «жить хорошо, удачливо». Поговорки отмечают: *Густая каша семьи не разгонит; И то бывало, что и мы кашу едали, а ныне и тюря в честь.*

В народной поэтике значение «обычная, распространенная пища» передается парным словом *щи-каша:*

Сам щи-кашу варю,
Кашеварничаю.

Щи и каша объединены в поговорках: *Щи да каша — кормильцы наши; Где щи да каша, там и место наше, Щи да каша — пища наша.*

Особенно любима была гречневая каша: *Гречневая каша — матушка наша.* А. С. Пушкин пишет жене: «В три часа сажусь верхом, в пять в ванну и потом обедаю картофелем да грешневой кашей».

Кашу готовили из разных круп, из зерна, из муки. Густо заваренное ячменное тесто с молоком или маслом называли *кашей-поварихой.* Из перловой крупы варили *толстую кашу.* Горячий кисель из ржаной муки носил название *водяной каши.* Интересное блюдо — *каша с дыркой,* которую готовили из ячменной муки; сверху делали углубление для масла по поговорке *Каши маслом не испортишь.*

Каша — это и *общественная, коллективная еда. Недаром* поговорка существует: *Один и у каши загинет.* Котел с кашей объединял совместно работающих людей. Поэтому закономерно, что слово *каша* приобрело значение «артель», отмеченное, например, в доп-

ских говорах: «Мы с ним в одной каше». Так как каша была основным блюдом в рабочих артелях и воинских частях, то не случайно *повара называют кашеваром*: «Кашевары, вырыв яму и притащив с разных дворов плохо лежавшие чурки, уже варили кашу» (Л. Толстой. Казаки).

Слово *каша* легло в основу сложного образования *однокашник*, первоначально употреблявшегося в значении «одноартельщик, однотрапезник, товарищ по столу; выросший вместе» (Даль. Толковый словарь).

В современной речи разговорное *однокашник* сохранилось в узком значении «тот, кто учится или учился в одном учебном заведении; товарищ по учению»: «Поляков и Любимов действительно были однокашниками: в 1936 году они вместе окончили Московский автодорожный институт» (Рыбаков. Водители).

...Каша сопровождала человека от рождения до смерти. Она непременная участница ритуальных обрядов на крестинах, на свадьбах, в важных коллективных работах, на поминках. Ее ритуальная обрядовость объясняется приношением каши в жертву языческим богам. Еще в XIX веке на Украине сохранялся обряд принесения каши в жертву духам земли: в первую неделю великого поста девушки варили кашу с маком и на некоторое время закапывали ее в землю. Жертвенное значение каши связано с тем, что каша — древнейшее хлебное кушанье, которое первоначально готовилось из зерен злаковых растений (цельных или молотых).

Архаическая обрядовая каша из зерен под названием *грачиная каша* сохранилась в башкирской деревне. Ее готовят на празднике встречи весны, который так и называется «Праздник грачиной каши». «Женская половина деревни поднимается на гору и на костре в громадном котле варят кашу. Так же, как осенью, поется много обрядовых песен... „Грачиную кашу" на этом весеннем празднике *варят из дробленой* пшеницы с расчетом, чтобы хватило и людям, и прилетевшим грачам. В обрядовых песнях у грядущего лета просят хорошего урожая...» (В. Песков. На празднике в Бурангулове.— Комс. правда, 1985, 7 дек.).

Обрядовую кашу готовили на различных праздниках. Так, в канун рождества варили *сочиво* (обычно из дробленых зерен злаковых растений) и готовили *сочни* (лепешки с кашей или творогом сверху). Когда пекли сочни, то часть теста оставляли и делали из него маски. В рождественский вечер их надевали и через подворотню смотрели на проходящих. По наружности первого прохожего определяли будущее. Кстати, само название праздника *сочельник* (канун рождества) было образовано от слова *сочень*.

Каша — непременная участница на пожинках (вспожинках,

спожинках, обжинках) — коллективном празднике по случаю окончания жатвы: жницы с песнями приносят пожиночный (последний) сноп, и хозяин угощает их обрядовой кашей. С этим ритуальным блюдом связано название пожиночного праздника — *каша. Кашей* же называли коллектив жниц, участвующих в пожинках. Словарь русских народных говоров приводит также слово *кашница* — «жнея, участвующая в праздновании окончания жатвы — *каше*».

В «овинные именины» начинают молотьбу нового урожая. При этом молотильщиков угощают в овине новой кашей. В ответ на угощение они приговаривают: «Хозяину хлеба ворошок, молотильщикам каши горшок».

«У плотников, при постройках новых крестьянских изб, издавна велся такой обряд. Когда строение было готово вчерне, ладились „подымать и обсевать матицу", то есть тот поперечный брус, на который настилается потолок. Когда она поднята и укреплена в последнем венце, варят кашу, кутают горшок в полушубок и подвешивают на веревке к матице. Плотник лезет на потолок, обходит настланный накат этот, рассыпая рожь и хмель на счастливое житье в новом доме. Проходя по матице, он рубит топором веревку, на которой висит горшок с кашей, и садится с товарищами есть это сладкое и масляное кушанье» (Максимов С. В. Крылатые слова).

С кашей связаны приметы и гадания. Если каша румянится в печи летом — к дождю, если зимой — к снегу, если вылезла в печь — к добру, из печи ушла — к худу.

Особенно велика роль жертвенной, ритуальной каши на свадьбе. Не случайно слово *каша* в старину употреблялось в значении «свадебный пир», а выражение *чинить кашу* означало «устраивать свадебный пир». Словарь русских народных говоров приводит слово *кашники* в значении «родственники и знакомые невесты, приезжающие к жениху на угощение — кашу». Хозяйку дома на свадьбе называли *кашницей*.

В некоторых местах России молодым за свадебным столом разрешали есть только кашу, причем на невесту накидывали платок, под которым она и ела ее.

В Псковской губернии после величаний жениха и невесты на свадебный стол ставили большой горшок каши с воткнутыми в нее деревянными ложками. Дружка обращается к приглашенным на свадьбу: «Прошу гостей с семи волостей, с двенадцати стольных городов приниматься за кленовую чашу, за теплую кашу». Гости разбирают ложки и едят кашу из одного горшка.

В архангельских говорах бытовало выражение *золотая каша*: так называли обрядовую ячменную кашу, приготовленную для не-

весты в день красованья, когда она накануне свадьбы в красивом платье выходит к гостям.

Учинить кашу, т. е. устроить свадебный пир, сопровождаемый сложными обрядами,— мероприятие многолюдное, хлопотное, суматошное. С этим связано приобретение словом *каша* переносного, метафорического значения «беспорядок, сумятица, неразбериха», например: «Большой монастырский двор... представлял из себя живую кашу, полную движения, звуков и оригинальнейшего беспорядка» (Чехов. Перекати-поле).

Что за диво, что за каша
Для рассудка моего —
Черт возьми! но, воля ваша,
Не скажу я ничего.

Пушкин. Будь подобен полной чаше

В значении же «затеять сложное, хлопотное дело» стало употребляться выражение *заварить кашу*, например: «Придется принимать бой... Сами заварили кашу, сами и поезжайте по круговой обороне» (Вершигора. Люди с чистой совестью).

Происхождение фразеологизма *заварить кашу* Н. М. Шанский, В. И. Зимин, А. В. Филиппов объясняют так: «*Каша* имело ранее значение „званый обед, праздник по поводу именин или свадьбы", а потом „беспорядок, суматоха, сумятица, путаница". Этим значением слова *каша* и объясняется смысл всего выражения» (Русский язык в школе. 1979, № 3).

В русском языке нередки случаи выделения слова-компонента из состава фразеологизма и приобретения им переносного значения под влиянием смысла фразеологического словосочетания.

Слово *заварить*, выйдя из фразеологизма *заварить кашу*, стало

употребляться самостоятельно в значении «затеять, начать что-либо сложное, требующее хлопот, деятельности», например: «Утопим весело умы И, заварив пиры да балы, Восславим царствие Чумы» (Пушкин. Пир во время чумы); «Мешкать было незачем... заварили свадьбу» (Гоголь. Вечер накануне Ивана Купала).

Под влиянием фразеологизма *заварить кашу* было образовано слово *заваруха* в значении «смятение, путаница, сумятица», например: «Парторг в шахте? — На третьем участке.— Что там случилось? — Заваруха какая-то» (Игишев. Шахтеры). Первоначально *заваруха* — вид каши. Так, в сибирских говорах слово *заваруха* (*завараха* и *заварока*) употребляется в значении «каша из пшеничной муки». *Заварухой* называют кашу, которая не варится, а готовится с помощью заваривания муки кипятком. При слове *завара*, отмеченном в вологодских говорах, Словарь русских народных говоров приводит такую запись: «Ставят в печь горшок и накаливают его. Затем в него насыпают овсяной или ячменной муки и заливают кипятком. Когда прокипит, едят с молоком или маслом. Вместо муки кладут иногда ржаные высевки. Местами завару едят с тертой редькой, разболтанной в масле».

В южных и восточных говорах известны слова *завараха, заварёха, заварока, заварушка* в значении «смута, ссора, драка», а также выражение *заваруху затеять* в значении «подраться», в курских — слово *заварошка* в значениях «ссора» и «война», в тверских — слово *завареха* (и *заварика*) в значении «сварливая женщина».

По модели фразеологического словосочетания *заварить кашу* и в результате антонимической ассоциации был образован фразеологизм *расхлебывать кашу*, активно употребляемый в современной литературной речи в значении «распутывать сложное, хлопотное или неприятное дело», например: «Тургенев в своих произведениях учит, чтобы всякая возвышенная, честно мыслящая девица уходила с любимым мужчиною на край света и служила бы его идее,— сказал Орлов, иронически щуря глаза... Да, душа моя, Тургенев писал, а я вот теперь за него кашу расхлебывай» (Чехов. Рассказ неизвестного человека).

В современной речи существует устойчивое словосочетание *каши не сваришь* с кем-либо, означающее «не сговоришься, не договоришься, дела не сделаешь», например: «Школой он так же интересуется, как я прошлогодним снегом. Нет, не сварю я с ним каши! Ничего у нас с ним не выйдет!» (Чехов. Кошмар).

Рисунок Ю. Панипартовой

Тор и Краматорск

Е. С. Отин,
доктор филологических наук

По свидетельству Ипатьевской летописи, на реке Тор (сейчас это река Казенный Торец, протекающая по территории Донецкой области УССР и впадающая в главный приток Дона — Северский Донец) после поражения на реке Каяле, или Сюурлий, в плену у половцев находился князь Игорь.

Вот как повествуется в летописи о бегстве Игоря из плена: «в заход с(о)лица» «в пяток в вечере» (в пятницу вечером) посылает князь «конюшого своего» к половчанину Лавору, согласившемуся ему помочь, со словами: «перееди на ону сторону Тора с конем поводным». Когда охранявшие его половцы захмелели, напившись кумыса, и потеряли бдительность, пришел Игорь «ко реце и перебред» (перешел ее вброд).

Объяснение названия реки *Тор* возможно на почве как славянских, так и неславянских языков. Так, по мнению П. Е. Ваденюка, название *Тор* соотносится со славянским корнем *-тор-* (в словах *торный, проторить* и т. д), «который выражает понятие движения» (Ваденюк П. Е. Где нужно искать ту реку..? — В кн.: Труды Третьего археологического съезда в России... Т. II. К., 1878). М. Фасмер в «Этимологическом словаре русского языка» связывает гидроним со словом *тор* — «проложенная дорога», *торный* — «гладкий, ровный (о дороге)», укр. *тор* — «колея» и т. д., а в более отдаленной этимологической ретроспективе — с праславянским глаголом **terti* «тереть». Мотивами называния в этом случае могли быть: быстрое течение, размывающее берега («трением» воды о них), вызванный этим шум воды. Однако принятию славянской этимологии мешает то обстоятельство, что река Тор в XII веке находилась далеко от южнорусских поселений. Название реке могло дать лишь более или менее постоянное население па ее берегах. Еще ранее (в 20-е годы) М. Фасмер высказал предположение об иранских («скифских») истоках гидронима: из *tūra* «быстрая» (*Iranier in Südrussland. Leipzig*, 1923).

Вполне оправданными, на наш взгляд, являются поиски этимо-

логии гидронима *Тор* на тюркской языковой почве. Река эта протекала через кочевья крупнейшего восточного объединения половцев, а до них на этой территории обитали другие тюркские племена.

Возможно, что в основе названия *Тор* лежит тюркское прилагательное *тар* — «узкий», «тесный», «тонкий». В большинстве тюркских языков оно представлено в данном звуковом виде, но известны и другие его варианты: узбек. *тор*, туркмен. и азерб. *дар*, уйгур. (диалектное) *та*. Корень этот выступает и как глагольная основа *тар* — «суживаться». В значении «узкий» слово *тар* зарегистрировано и в половецком языке (*Comes Géza Kuun. Codex Cumanicus. Budapestini*, 1880). Такое название этот приток Северского Донца мог получить из-за того, что был узким по сравнению с какой-то другой расположенной неподалеку водной артерией, может быть, с самим Донцом.

Отождествлению гидронима *Тор* с тюркским прилагательным *тар* — «узкий» мешает отсутствие перехода *а*>*о* в этом слове в большинстве современных тюркских языков. Но вполне возможно, что гидроним *Тор* образовался на почве одного из диалектов половецкого (куманского) языка с чертами огузской группы языков, одной из которых было огубленное *а* в начальном слоге (*а*>*о*>*у*). При освоении славянами неясного половецкого названия *Тар* с лабиализованным *а* могло произойти сближение со словом *тор* — «дорога», что и было впервые зафиксировано в тексте летописи. В настоящее время река *Тор* именуется *Казенным Торцом* (в документах XVIII века — *Казенным Тором*).

Старая основа речного имени *Тор* получила отражение в ряде названий населенных пунктов, расположенных возле реки,— *Краматоровка* (село бывшей Харьковской губернии), современный поселок *Краснаторка*, город *Краматорск* Донецкой области УССР. Несмотря на то, что вторая часть названия города *Краматорск* общая со старинным названием реки, она однако, как мы увидим, непосредственно с самим гидронимом не связана.

Для многих уже совершенно неясна первая часть топонима. В народных легендах, проникших, кстати, и в некоторые краеведческие справочники и газетные статьи, она сближается с украинским словом *крам* — «товар»: Краматорск, мол, возник в районе добычи соли, которая раньше была ценным предметом торговли. Отсюда восстанавливается нигде не зафиксированное название населенного пункта в виде словосочетания *Крам на Торе* или *Крам Торский* (Історія міст і сіл УРСР. Донецька область. К., 1970). Однако нам ничего не известно о существовании в данном районе в XVII—XVIII веках торгового центра, который бы специализиро-

вался на торговле солью — *крамом*. Вызывает серьезные сомнения и сама возможность столь иносказательного обозначения в народной речи самой соли, которая во всех географических именах, к которым она имела отношение, выступает в своем прямом выражении: *Солигалич<Соли Галичские, Соликамск<Соли Камские, Сольвычегодск<Соли Вычегодские, Соль-Илецк* и т. д. Согласно другой версии, в качестве товара — *крама* выступала здесь вяленая рыба, которую будто бы продавали по пути домой чумаки, доставлявшие к Азовскому морю пушки. Чумацкий табор назывался будто бы *Крамовым торгом*, откуда, мол, после и появилось название *Краматорг*, изменившееся в *Краматорск* (Златокрылец Н. М. Краматорск, 1984). Уж очень искусственным, надуманным выглядит это пришедшее явно не из стихии народной речи образование — *Краматорг*.

Следует отклонить и попытку вывести название населенного пункта из более раннего *Краматорский завод*, а последнее — из фран. *crématoire* — «большая печь» (Никонов В. А. Краткий топонимический словарь). Дело в том, что данный завод (печи которого вряд ли когда-либо назывались *крематориями*) был построен в 1887 году в населенном пункте, уже носившем название *Краматоровка*.

В 20-е годы нашего века еще существовали названия двух поселков — *Краматоровский* (*Краматорский*) 1-й и 2-й, а также *Краматорский район* Бахмутского округа Донецкой губернии. На основе этих ранних форм — *Краматоровка, Краматоровский, Краматорский* и сложилось позднее название города *Краматорск*, в котором конечное *-ск* является сугубо топонимическим суффиксом, характерным для наименований населенных пунктов городского и поселкового типа.

В основе же ранних форм названия поселения лежит не сохранившееся уже и нигде не отмеченное топонимическое словосочетание (скорее всего, название урочища) *крома Торова*, или *крома Торская*, то есть граница по реке *Тор, торская граница*. В русских народных говорах *крома* (ср. литературное *кромка*) — «край, рубеж, граница», «опушка леса на границе болота», *кром* — «конец улицы» (на Дону). Ср. еще: *укромный*, украинское *крома* — «перегородка». Это слово получило отражение и в южнорусской топонимии; поселок *Кромы* на реке *Крома* в Орловской области, по которой проходила когда-то граница Русского государства с Диким полем (Смолицкая Г. П. Кромы.— «Русская речь», 1976, № 1).

Река *Тор* в прошлом не раз выступала в качестве естественного ориентира при установлении границ Русского государства в конце XVII — начале XVIII веков. Самый ранний известный нам факт:

при сооружении укреплений изюмской черты. В 1684 году под руководством белгородского воеводы А. С. Шеина было начато (и в следующем году по решению Разрядного приказа внезапно прервано) строительство южного ответвления построенной ранее, в 1679—1680 годах, оборонительной линии — Изюмской черты для защиты от крымских татар соляных промыслов на реке Тор, а также Святогорского монастыря и Маяцкого городка, находившихся по правую — «крымскую» сторону Северского Донца. Позднее, с перемещением границ России на юг, бытовавшее в народе географическое понятие и его словесное выражение — *крома Торова* (*Торская*) были утрачены, но следы их сберегліись в современной топонимии Донбасса. Итак, идя от современности в прошлое, можно восстановить следующие этапы возникновения названия города *Краматорск: Краматоровка, Краматоровская, Краматорская* (со следом русского аканья в первом слоге: *Крома→Крама-*; в заселении территории Донбасса активное участие принимали выходцы из южнорусских областей) *←крома Торова, крома Торская←Тор←Тар.*

Современная топонимия Донбасса сохраняет географические названия — спутники многих исторических событий, имевших место на этих когда-то отдаленных рубежах нашего отечества,— похода «храбрых русичей» в далекую степь половецкую и бегства князя Игоря из половецкого плена; защиты русских земель от набегов крымских татар и установления государственных границ на юге России. Особую группу среди них составляют топонимы, в истоках которых лежит летописный гидроним *Тор*: город *Тор* (современный Славянск), *Торец* (*Казенный, Кривой* и *Сухой*), урочище *крома Торова* (*Торская*), названия населенных пунктов *Краматоровка, Краматорск* и др. Топонимическое словосочетание *крома Торова* (*Торская*) сложилось в то время, когда в русском и украинском языках еще существовало бессуффиксное существительное *крома* со значением «край, предел, граница». На этом основании можно объединить в одну смысловую группу «названия, указывающие на границу, рубеж», южнорусские топонимы *Крома* (река), *Кромы* (населенный пункт Орловской области) и название города *Краматорск* в Донбассе.

Донецк

Рисунок С. Гавриловой

„Кавычки"

Ж. Ж. Варбот,
доктор филологических наук

Кавычки, как известно,— парный знак препинания, имеющий вид сдвоенных запятых-лапок и служащий для выделения чужих слов (прямой речи, цитат), названий произведений, журналов, предприятий и т. п., а также слов, используемых в несобственном их значении. Употребление кавычек как будто не представляет трудностей, а вот само слово *кавычки* признается трудным, когда речь заходит о его происхождении.

Коротко остановимся на истории знака, называемого *кавычками*. Этот знак препинания вошел в русскую гражданскую орфографию в конце XVIII века. Он встречается, например, в «Письмах русского путешественника» Н. М. Карамзина. Но знак, похожий на современные кавычки,— сдвоенные запятые или уголки — был известен уже в церковнославянской письменности. В сочинении болгарского автора Константина Грамматика о славянской письменности и грамматике, относящемся к XV веку, этот знак рекомендуется для выделения «еретических» цитат, в отличие от одинарных запятых-лапок, которые должны ставиться при цитатах из «настоящих учителей» (евангелия и т. д.) [см.: Ягич И. В. Рассуждения южнославянской и русской старины о церковнославянском языке.— Исследования по русскому языку. Изд. Отделения русского языка и словесности имп. АН. Т. I. СПб., 1885—1895; далее — Ягич]. В русской переработке этого сочинения, известной по списку второй половины XVII века, и появляется впервые название знака — *кавыкы*, а в русских грамматических статьях XVII—XVIII веков употребляются названия *кавыка, кавыкы, кавыки* и *кавычки*.

Ягич отметил термин *кавыка* в числе новых названий не греческого происхождения. Знак, имевший такие названия, иногда включался авторами статей в перечень просодических (то есть знаков ударения, произношения), но преимущественно относился к знакам препинания. О правилах его употребления есть лишь два, но тождественных свидетельства: кавычки рекомендовалось ставить

над синонимами, помещаемыми на полях сочинения, и над соответствующими им словами в тексте (Ягич), то есть они были средством выделения слов в тексте. Этот знак иногда именовался еще *пометки*. Термины *кавыка, кавычка* встречаются в XVII веке также как название какого-то знака в старинной системе нотной записи (так называемом крюковом письме) для обозначения определенного типа попевок (см.: Бражников М. Древнерусская теория музыки; ср. *также*: Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка; Словарь русского языка XI—XVII вв., далее — СлРЯ XI—XVII вв.). Сопоставление слов *кавыка, кавыки* и *кавычки* определенно характеризует *кавычки* как производное (во мн. ч.) от *кавыка*.

Какого же происхождения слово *кавыка*?

В этимологической литературе наиболее разработаны две гипотезы относительно его происхождения. Одна гипотеза вводит *слово кавыка* в гнездо, объединяющее слова *кукиш*, диалектное *кука* «кулак», церковнославян. *куконосъ* «кривоносый» (см.: Фасмер М. Этимологический словарь русского языка, далее — Фасмер). По этому толкованию *кавыка* должно быть очень древним, праславянским *словом, первоначально обозначавшим что-то согнутое*. С точки зрения значения это вполне вероятная этимология, но при анализе формы слова возникают сомнения: нет других слов, которые надежно входили бы в это гнездо и содержали корневое *а*. Возражение того же плана вызывает и второе этимологическое толкование слова, производящее *кавыка* от *ковать* в его первичном значении «бить, ударять» (см.: Етимологічний словник української мови, Т. 2. Київ, 1985, далее — ЕСУМ). Эта гипотеза предполагает первичность формы *ковыка* с корневым *о*. Такая форма встречается в русских говорах и в украинском языке, но в письменных памятниках зафиксировано только корневое *а*, в старейшем словаре украинского языка (1843 г.) тоже находим *кавика* «запятая» (см.: Білецький-Носенко П. Словник української мови. Київ, 1966), а это побуждает считать первичной именно форму *кавыка*, но она необычна для гнезда *ковать*. Очевидно, вопрос о происхождении слова не может считаться решенным. Поэтому целесообразно пересмотреть имеющийся материал и привлечь новый.

Прежде всего, следует отметить, что форма *кавычки* известна только русскому языку (болг. *кавички* — заимствование из русского), а слово *кавыка* — только восточнославянским языкам: русскому, украинскому и белорусскому. Наряду со значением «знак препинания», это слово в русском (по говорам) и украинском языках имеет значение *«препятствие, помеха, затруднение»*, а в белорусском языке — только это последнее значение (см.: Даль В. И. Тол-

ковый словарь живого великорусского языка, далее — Даль; ЕСУМ). В тех же значениях употребляются во всех трех языках производные от *кавыка* с приставкой *за-*: русск. *закавыка*, укр. *заковика*, белор. *закавыка*.

Теперь обратимся к структуре слова *кавыка*. В русских грамматических статьях XVII века, собранных Ягичем, упоминается варьирующийся термин *оковавы, оковавь, окованы, сквавы, окавы*, который обозначал особый знак над *і* — сдвоенные наклонные черточки или сдвоенные лапки-запятые. По принятому в этимологии правилу из нескольких вариантных форм первичной признается наименее ясная. Из приведенных вариантов *оковавы, оковавь, окованы* явно обнаруживают влияние со стороны глагола *ковать* (то есть были преобразованы в сторону сближения с этим глаголом), *сквавы* может быть понято как неправильная переписка слова *окавы*. Первичным же представляется вариант *окавы*. Поскольку один из способов написания знака «окавы» — это сдвоенные лапки, то можно предположить, что названия *окавы* и *кавыки* — родственные образования. Тогда в слове *кавыка* выделяется корень *кав-* и суффикс *-ыка*.

Суффикс *-ыка* есть в славянских языках, но он очень редок, образования с ним в каждом языке единичны, а в русском языке слов с суф. *-ыка* пока вообще не отмечено. Если слова с суф. *-ыка* так редки, то, интересуясь словом *кавыка*, нельзя не обратить внимания на русский вологодский диалектизм *ковыка* — название какой-то травы, которая описывается так: «А та трава добрая. Собою с человека ростом, а по ней — что иглы. Цвет мохнат, синь. А растет по пахотным местам» (Словарь русских народных говоров, далее — СРНГ). Отождествить эту траву непросто: скорее всего, это ежá (*Dactylis*), но возможны и костёр, синец (*Bromus*), и белоус, сивец (*Nardus stricta*), но ясно, что речь идет о высоком растении с жестким стеблем. Подобные травы часто сравниваются с палками, столбами: так, ежá иначе называется *палочник* (Даль), а в пензенских говорах крупный стебель травы называется *столбунец* (Даль).

В тех же вологодских говорах, где записано слово *ковыка*, зафиксировано и другое, но очень близкое название какой-то травы — *ковена* (СРНГ). Нельзя не предположить здесь слова одного корня с разными суффиксами. Поиски корня этих слов, при учете отмеченных особенностей травы «ковыки», названий жестких стеблей и суф. *-ена* в *ковена*, приводят к группе слов с корнем *кав-/ков-*, представленной преимущественно в северных русских говорах и часто — с суффиксами, содержащими *-н-*: это *кáва* «кол, колышек» (новгород., олонецк.), «кол, короткое бревно, вбитое в землю на

берегу реки или озера для причаливания лодок, судов, плотов» (новгород., псков., олонецк., ленинград., вологод., костром., волж., ярослав.), «свая» (новгород.), «столб для привязывания лошадей» (олонецк., Коми АССР), «столбик на тротуаре» (новгород.), «кол, служивший отметкой подушных участков поля или луга» (арханг., Коми АССР), *ко́ва* «кол, пень, надолба, тычок, коряга; свая для причалки судна; кочка, пенек» (новгород.), *ка́ваньки* «заостренные колья для изгороди» (олонецк.) и *ка́винка* «колышек, тычок» (олонецк.), *кавинки* «маленькие колья» (олонецк.— СРНГ). Особо отметим значение *кава* «кол — межевой знак». Только в этом значении слово *кава* встречается в исторических документах, а именно — в Актах Свирского монастыря в 1655 г.: «Староста... велил межу утвердить и кавы забить...» (СлРЯ XI—XVII вв.).

Представляется, что именно с этой группой слов, в центре которой находится *кава, кова* «кол, свая», связаны по происхождению и *ковыка, ковена* — названия трав, и *окавы* — название надстрочного знака, и *кавыки* — знака препинания. Для обоснования сближения этих слов по форме существенно наличие в *кава, кова* вариантности корневого гласного *а/о*, что позволяет связать с ними и *кавыки*, и *ковыка*. Что касается значений, то образование в гнезде *кава, кова* «кол, свая, коряга» названия высокой травы *ковыка* вполне мотивировано. Более сложно объяснить связь значений «кол, свая, коряга» и «надстрочный знак, знак препинания». Возможно, и здесь первоначально сыграло роль некоторое сходство знаков (наклонные черточки, лапки, причем сдвоенные) с колышками, но более существенным было, вероятно, наличие у кольев, именовавшихся *кавами*, важного социального назначения — обозначение ими межи, границы земельного участка. Именно это значение слова *кава* — «знак межи, границы» могло определить и развитие у производного *кавыка, ковыка* значения «препятствие, помеха», и употребление слов *кавыки* и *окавы* как названий знаков на письме.

Выделяемый во всей этой группе корень *ков/кав* — по происхождению не связан с глаголом *ковать*. Слово *кава/кова* в русском языке не исконное: это заимствование из вепсского (прибалтийско-финского) языка, где *kavi* имеет значения «кол (в частности — для привязывания лодки); вешалка (колышек для вешания одежды)» (Зайцева М. И., Муллонен М. И. Словарь вепсского языка; Фасмер). В русском языке немало очень старых заимствований из финских языков. Большинство из них осталось диалектизмами, но некоторые заимствования или производные от них слова вошли в русский литературный язык. Например, финским заимствованием является русск. вятск. *конда* «крепкое сосновое бревно», от которого образо-

вано *кондовый* «прочный», перешедшее из говоров в литературный язык. Подобный путь прошло, вероятно, и слово *кавыка*, от которого образовано уже в литературном языке слово *кавычки*. Спорна, однако, первичная языковая принадлежность слова *кавыка* (и *ковыка*). Нельзя совершенно исключить возможность образования его на русской почве от заимствованного слова *кава, кова*.

Но следует иметь в виду и другой путь. Дело в том, что нередко заимствуются не единичные слова, а целые группы родственных слов. Так было и в случае с *кава*. Вепсское *kavi* имеет основу родительного падежа *kaven*, и именно к этой основе восходят русские диалектизмы с суффиксальным элементом *-н- каваньки, кавинка*, которые, следовательно, являются не русскими производными от *кава*, а параллельными с этим словом заимствованиями. Известно, что в вепсском языке (как и в других финских языках) одним из наиболее продуктивных суффиксов существительных является *-ik-* (его функции — уменьшительность, собирательность). Поэтому можно думать, что *кавыка, ковыка* — это результат заимствования вепсского производного от слова *kavi* с суф. *-ik-*. Бытование слов *кавыка, ковыка* только в восточнославянских языках при отсутствии в западно- и южнославянских вполне согласуется с гипотезой о заимствовании слова из прибалтийско-финского языка.

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

«Объясните, пожалуйста, на страницах журнала слово *глиптика*».

Н. Т. Троицкая, *Новгород*

Глиптика — это искусство резьбы по камню. В русский язык заимствовано из французского: франц. *glyptique* — от греческого глагола *glypho* — вырезаю.

„Между нами чьи-то имена...“

Н. В. Солоник,
кандидат филологических наук

Что общего между гайморитом, гильотиной и... магнолией? Между воспалением слизистой оболочки, орудием казни и роскошным южным растением — ровным счетом ничего. Но вот в их названиях определенное сходство, как ни странно, есть: все они образованы от имен собственных.

Действительно, воспаление слизистой носа получило свое наименование по имени английского анатома XVII века Гаймора. Машина для обезглавливания, введенная во Франции во время буржуазной революции 1792 года, названа по имени предложившего ее врача Гильотена. Дерево с душистыми цветами носит имя французского ботаника Пьера Маниоля.

Много ли в русском языке наименований, в основе которых лежат имена собственные? По скромным подсчетам, которые велись нами по словарям иностранных слов, новых слов и значений, а также этимологическим,— их более трехсот. И это не считая сложных наименований типа: раствор Люголя, мазь Вишневского, прыжок Цукахары и т. п.

Самые разнообразные классы предметов и явлений названы словами, основа которых вбирает в себя имена, фамилии, псевдонимы и клички реально живших людей, имена вымышленных персонажей, названия географических объектов.

Судите сами. Именами и фамилиями людей, а в ряде случаев — мифологических и литературных героев названы различные механические устройства (*дизель, маузер, кардан, каупер* и т. п.); единицы физических измерений (*ом, ампер, вольт, ватт, джоуль, нью-*

тон, кулон и т. п.); виды жуков (*голиаф*); земноводные (*тритон*); некоторые растения (*секвойя, магнолия, нарцисс*), сладости (леденцы *монпансье* и *ландрин*, начинка для конфет *пралине*, пирожное *наполеон*); различные химические элементы, вещества, сплавы, металлы (*нильсборий, никотин, баббит*); самые разнообразные минералы (*гагаринит, седовит, ферсманит*); отдельные виды одежды (*галифе, френч, макинтош, толстовка, буденовка, боливар*), стрижки (*сэссун, гаврош*), виды фигурных прыжков (*сальхов, фосбюри, корбут*).

Имена собственные и литературных героев легли в основу и наименований людей по их разнообразным характеристикам: *хулиган, донжуан, донкихот, ловелас, альфонс, ротшильд, плюшкин, гобсек, тартюф* и др.

Названия городов, островов, небольших местечек и целых государств дали жизнь наименованиям некоторых пород собак (*ньюфаундленд, болонка*), кур (*леггорн*), овец (*рамбулье*); отдельных сортов вин и напитков (*лафит, бордо, мадера, портвейн, шампанское, боржоми*), сыров (*рокфор*), мороженого (*пломбир*), некоторых тканей (*джерси, кашемир, бостон, болонья, маренго*), изделий из фарфора и хрусталя (*гжель, баккара*), танцев (*бостон, краковяк, чарльстон, тарантелла*) и др.

Интересен вопрос: имена и фамилии каких людей обессмертили себя, оказавшись в разряде нарицательных?

Наблюдения показывают, что чаще всего это имена всемирно известных ученых или изобретателей, крупных политических деятелей или спортсменов.

Так, именами ученых Георга Симона Ома, Исаака Ньютона, Николы Теслы названы соответственно единицы измерения сопротивления, силы, магнитной индукции и т. п.

По имени спортсменов — шведа Сальхова, немца Ритбергера, советской гимнастки Ольги Корбут названы соответствующие спортивные прыжки и элементы программ.

В качестве нерегулярно встречаемых в структуре имен нарицательных можно отметить имена и фамилии селекционеров (*магнолия, джонатан*), врачей (*гайморит, гильотина*), писателей (*толстовка, хейлизм*), дрессировщиков (*доберман*), промышленников и предпринимателей (*ватман, пульман, брегет, ландрин, бефстроганов*), военачальников (*буденовка, пралине, галифе*), герцогов (*монпансье*), лордов (*дерби*), индейских вождей (*секвойя*), национальных героев (*боливар, сандинизм*), парикмахеров (*сэссун*), именитых фавориток (*помпадур*), царственных династий (*бурбон*), нарушающих общественный порядок людей (*хулиган*), людей, добивающихся славы любым путем (*герострат*),

Названия людей по каким-либо специфическим чертам их характера и поведения оформляются преимущественно по именам популярных литературных героев, персонажей библейских легенд или героев народного эпоса.

К примеру, наивного, смешного мечтателя мы называем *донкихот* по имени героя известного романа Сервантеса; очень высокого человека — *гулливером* — по имени героя Джонатана Свифта «Путешествие Гулливера»; мужчину, живущего за счет женщин,— *альфонсом* — по имени персонажа комедии Александра Дюма «Мосье Альфонс».

Древнегреческая и древнеримская мифология также явились крупными «поставщиками» материала для имен нарицательных. Так, ревнивую женщину мы называем *медеей* по имени мифической Медеи — жены аргонавта Язона, изощренно отомстившей ему за измену. Назойливого советчика нередко зовем *ментором* по имени Ментора — воспитателя Телемака, сына Одиссея. Аналогичны перечисленным и названия типа *тритон, титан, адонис, нарцисс, кассандра, медуза, мегера.*

Наименования игрушек, а также неофициальные названия отдельных национальностей даны по наиболее распространенным в том или ином народе именам. Сравните: *матрешка, петрушка, марионетка; фрицы* (о немцах), *иваны* (о русских) и т. п.

Мотивы избрания имен собственных для наименования целых классов предметов и явлений различны.

Одним из мотивов выступает сходство. Так, *геркулесом* мы называем человека, физическая сила которого уподоблена силе мифического героя.

Другим мотивом выступает смежность или какая-либо объективная связанность предметов. К примеру, единицы измерения частоты колебаний и давления носят имена своих первооткрывателей — *герц, паскаль;* изделия из фарфора *гжель* получили наименование по названию местечка в Подмосковье, где поставлено их производство; отравляющий газ *иприт* назван так по городу Ипр в Бельгии, где впервые был применен.

Иногда переход имен собственных в класс нарицательных осуществляется на чисто конвенционной основе, то есть по договоренности — просто «в честь такого-то». Так, металл *никель* получил свое название в честь одного из... сказочных троллей; минерал *раит* назван так в честь легендарного папирусного судна «Ра» Тура Хейердала, хотя ни сказочный герой, ни знаменитое судно к этим вещам никакого отношения, конечно же, не имеют.

Переход имен собственных в класс нарицательных осуществляется двумя способами.

Во-первых, нарицательные существительные образуются от собственных с помощью суффиксов: Ср.: *марксизм, голлизм, кантианство, гегельянство; маниловщина, хлестаковщина; буденовка, толстовка* и т. п.

Во-вторых, этот переход связан с метафорическими и метонимическими переносами имен (*мегера, донжуан, герц, ньюфаундленд*). В этом случае образуются омонимичные пары и даже группы имен собственных и нарицательных. Сравните: *Джоуль* — английский физик и одновременно — единица работы; *Титан* — герой древнегреческой мифологии, вообще человек могучего духа, ума и таланта и одновременно — химический элемент.

Взаимоотношения между именами собственными и нарицательными, как видим, достаточно интересны.

Если любознательный читатель захочет расширить свои представления о них, он может обратиться к книге Л. А. Введенской и Н. П. Колесникова «От собственных имен к нарицательным» (М., 1981) или к книге Э. А. Вартаньяна «Путешествие в слово» (М., 1982).

Ленинабад

Рисунок С. Гавриловой

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

«В нашем селе болотистое место называют *ла́бза*. Ни в одном словаре я не нашла этого слова и не знаю его происхождения. А может, это наша деревенская выдумка?»

Н. А. Чикмарева, *с. Усть-Волчина, Алтайского края*

Нет, это не «деревенская выдумка». Слово *ла́бза* есть в «Словаре русских народных говоров» (Л., 1980). Это диалектное слово, у него несколько значений: *низина, топкое место, зыбун, трясина,* а также *мягкий и зыбкий слой растительных остатков на озере, мох, растущий на болоте.*

О. В. Прискока,
кандидат филологических наук

При необходимости назвать действие, совершаемое пилой, мы, не задумываясь, произносим единственный и, казалось бы, испокон веков существующий в русском языке глагол *пилить*. Между тем на размышления наводит уже то, что данный глагол, представленный в большинстве современных славянских языков со значением «перерезать пилой», не употреблялся в древнерусском языке.

В памятниках древнерусского и церковнославянского языка и в более поздних источниках процесс работы пилой обозначен при помощи глагола *терети* и производных от него. Семантический признак, на основе которого этот глагол получил терминологическое значение, прозрачен. Пиление с небольшой натяжкой можно соотнести с трением, как частное с общим. В обоих случаях приходится, нажимая, водить вперед и назад одним предметом по другому, хотя есть и отличия. Образования от глагола *тереть* со значением обработки дерева существуют и сейчас в некоторых славянских языках. Так, в польском технический термин trzec' обозначает действие по переработке бревен во втором отсеке пилорамы, в болгарском *трион* — «пила», в сербохорватском *трачна тестера* — «ленточная пила», в украинском *тартак* — «лесопильный завод», *трач* — «пильщик», в западноукраинских диалектах *трачка* — «пилорама», «опилки», *трачиння* — «опилки», в архангельских говорах русского языка *терть* — «пилить».

Почему же вышел из широкого употребления в русском языке глагол *тереть* с ремесленным значением деревообработки? Когда и при каких обстоятельствах он был вытеснен глаголом *пилить*? Как видим, в формулировке вопросов указывается направление

пути поиска ответов. Нужно попытаться соединить сведения о языковых фактах с данными исторической науки о развитии пильного дела на Руси.

Блестящий образец такого исследования создал в 30-е годы советский историк П. Г. Любомиров. К сожалению, его статья «Из истории лесопильного производства в России в XVII, XVIII и XIX вв.» хотя и вошла в изданные в 1947 году «Очерки по истории русской промышленности», остается неизвестной для широкого круга любителей прошлого русской материальной культуры и письменности. Предлагаемая публикация до некоторой степени поможет восполнить этот пробел, так как идея и выводы П. Г. Любомирова об употреблении слов *тереть* и *пилить* в русском языке XI—XVII веков являются ее основой. В то же время целый ряд любопытных фактов языка, оставшихся по разным причинам вне поля зрения ученого, привел к необходимости выдвинуть на первый план лингвистический аспект проблемы.

Наблюдательный читатель, изучая древнерусскую письменность, сразу заметит: древнерусские памятники, особенно те, в которых описывается строительство различных сооружений, содержат много прямых или косвенных указаний на обработку дерева при помощи топора. Но не найден пока ни один текст раннего происхождения, сообщавший бы о распиливании дерева пилой. В редких примерах употребления глагола *тереть* и его приставочных образований в значении «работать пилой» описывается не обработка древесины, а мучение первых христианских великомучеников. Это их, испытывая твердость веры, жестокие язычники истязали растиранием пилой: «Тьгда цесарь повеле глаголя приведите ми древоделю и пилы и пришьдъшема дъвема древоделяма... начаста *тьрьти* ю (мученицу Ирину), пиле же влачиме притупляться...» (Мучения Ирины. Успенский сборник XII в.); «... обличаше же его (цесаря) о безаконии его, и *претрен* бысть (святой пророк Исаия) пилою на полы...» (Пролог 1643 г. со сп. XII в.).

Кроме того, подобные рассказы помещены в памятниках древнерусского языка книжнославянского типа. Следовательно, не исключается, что и сюжеты, и отраженная в них действительность заимствованы посредством старославянских памятников у народов Балкан или Средиземноморья. В таком случае не является ли глагол *тереть* со значением «пилить» сугубо книжным словом, не характерным для живой, разговорной речи носителей древнерусского языка? Перечисленные сомнения усиливаются противоречивым характером исторических сведений о пиле как о предмете материальной культуры восточных славян. Была ли она известна

на Руси, если бревна, находимые при раскопках, все срублены топором?

В археологическом материале маленькая пила типа современной «ножовки» встретилась лишь однажды в сокровищнице древнерусских ремесленных вещей Княжьей Горы. Кроме того, арабский писатель X века Ибн-Мискавейх, описавший поход русов в Закавказье, среди предметов их воинского снаряжения называет и пилу. Пилой сделаны прорези в середине доски деревянных оконниц церкви Спасо-Нередицкого монастыря в Новгороде (около XII века) [см.: Рыбаков Б. А. Ремесло древней Руси].

Академик Б. А. Рыбаков в вышеназванной книге отмечает: «Итак, в отношении пилы мы должны прийти к выводу, что последняя была хорошо известна на Руси, но применялась только для столярных, а не для плотницких работ».

П. Г. Любомиров предполагал, что славяне познакомились с пилой как особым орудием в глубокой древности, позаимствовав ее от германцев вместе с названием еще в общеславянский период. На это указывает этимология слова *пила*. О. Н. Трубачев убедительно доказал, что оно восходит к германскому корню fila. Но в средненемецком Feile — «напильник». По мнению О. Н. Трубачева, первоначально ни германцы, ни славяне не знали настоящей пилы. Сами германцы стали называть пилу не древним словом fila, а иными названиями, например Säge. По происхождению это слово продолжает индоевропейский корень * sek — «сечь, рассекать» и родственно названиям орудий, предназначенных для более простых, старых способов обработки дерева путем рассекания,— топоров, секир. Утраченное немецким, но сохранившееся в славянских языках слово *пила* свидетельствует, что далеким предком современной пилы был предмет металлообрабатывающего ремесла, нечто вроде напильника (См.: Трубачев О. Н. Ремесленная терминология в славянских языках). Теперь понятно, почему пила, продолжающая функции напильника, используется долгое время для мелких столярных работ, пропилов кости и т. п. Конечно же, характер действия такой пилой наиболее точно может быть обозначен словом *тереть*, которое, судя по его реликтам в русских говорах, украинском языке, отражению в поздних памятниках письменности, было в древнерусском языке в употреблении. Но широкое универсальное применение русскими умельцами топора отодвигало необходимость трения пилой в деревообработке на второй план, а то и вовсе исключало ее. В связи с этим глагол *тереть* с терминологическим значением в древней нашей письменности встречается редко, в текстах неремесленного содержания.

Актуальной для русских письменных источников тема пилы

становится только с конца первой четверти XVII века. Глагол *тереть* начинает часто употребляться в деловых документах. Речь в них идет уже не о великомучениках, а только о лесопилении. Голландец Исаак Масса в 1624 году просит дозволения у царя Михаила Федоровича посадским людям города Амстердама Яну Янсену, Яну Паду и Францу Адрансу «... пилами, которые водяными мельницами *трут*, и ручными пилами лес *терть* на доски и на иное дело» (Кордт В. А. Очерк сношений Московского государства с республикою Соединенных Нидерландов по 1631 г.). В 1688 году русский служилый человек Полуехтов в челобитной царю Алексею Михайловичу сообщает: «И у меня холопа твоего корабль и яхту делают, а у корабля, государь, дно и стороны основаны, и кривые деревья все прибиты, и на верх на корабль брусья *ростирают*...»

Изучая эти и другие документы, П. Г. Любомиров нарисовал картину развития деревообработки у русского народа в донациональный период. С древнейших времен топор служил русским ремесленникам главным орудием обрабатывания древесины. С помощью топора из дерева делали все, в том числе и доски. Их тесали из бревен. Одного бревна хватало для изготовления одной, в лучшем случае — двух досок. Остальная древесина шла в отходы. Этот трудоемкий и расточительный способ удерживался тем не менее долго, так как необходимость в досках первоначально была невелика. Тес использовался в кораблестроении и в небольшом количестве для изготовления некоторых элементов рубленого бревенчатого дома: полатей, а у зажиточных людей — полов и крыш.

Постепенно потребность в досках росла, а запас деловой древесины в лесах истощался. Поиск экономных и производительных способов обработки древесного материала привел к идее продольного разрезания бревен при помощи больших ручных пил. Как свидетельствуют документы, для России первой половины XVII века дело это было новым и редким. В 1638 году в Москве на две тысячи ремесленников зарегистрирован только один пильщик. Для обозначения нового способа разделывания дерева на доски появилось и новое слово *пилить* или *пиловать*, которое впервые проникает в русскую письменность, по наблюдениям ученого, в 1637 году. В частности, в документах «Приказа сбора ратных людей» среди трудовых повинностей упоминается: «...подати ясиские и стрелецкой корм платим, а под послов подводы наймоваем, и городовую поделку рвы копали, и частняк *пилили*, и надолбы ставили с городом в ряд...» (Яковлев А. Приказ сбора ратных людей 1637—1653 гг. М., 1917).

Версия появления глагола *пилить*, высказанная П. Г. Любомировым, подтверждается лингвистическими соображениями. Продольное распиливание бревен на доски при помощи больших ручных или механических пил в первое время своего существования возвратило к жизни ранее редко употреблявшееся в письменности слово *тереть*. Но старый термин не мог удовлетворить всех потребностей общения, так как не содержал указаний на основные признаки нового способа — большую и к тому же дефицитную пилу и характер действия ею, непохожий на трение напильником. Поэтому всякий, кто хотел бы высказаться устно или письменно о лесопильном деле, должен был создавать громоздкие конструкции с различными определителями при глаголе *тереть* или его производных, например *тереть пилами, ростирка пильная* и т. д. Много таких выражений можно найти в документах строительства первого русского флота в Воронеже (конец XVII века). Прослеживая особенности языка упомянутых деловых бумаг, попутно нельзя не отметить, что их содержание проникнуто близкой сердцу наших современников идеей сохранения природных богатств страны.

В инструкции Петра сказано: «Приняв росписи лесам раздать по кумпаниям, объявляя им, чтоб зело лесов берегли и бережно колоть в доски и в иныя надобья; также рубить, бросать и надобнаго жечь отнюдь не велели, того для что тогда иных мест отводить не будут и не где, и тогда зело будет трудно, так что и делать будет не из чего... и того для удобнее тот лес вдоль и поперег *тереть* пилами, но в скорых числах такое множество пил сыскать негде, а в предбудущий год конечно оные везде изготовить ...а на предбудущий год *работать пилами,* а если кто и сделает судно из тесаного, а не из *пильнаго* (лесоматериала) и таких судов принимать у них не будут и сверх того положена будет пеня». В «Отписках с Воронежа» поверенных кумпанства и подрядчиков «плотничнаго и токарнаго и столярнаго и пильнаго дела мастера» ручаются круговой порукой: «... рубя с корени лес валить бережно и надобнаго лесу ничем не портить и в *перетирке* и в *ростирке пильной досок* и *всякаго лесу* держать всякая настоящая бережь...», «...а делать нам те припасы, столярное дело своими снастьми, кроме *большой пилы,* чем *лес перетирать* и напарья, для того, что договорено с ними строителем и с дьяком и стрянчим у *того дела быть большой пиле* и напарью их» (Елагин С. История русского флота. Период Азовский. Приложения. СПб., 1864). Если сокращение расходов сырья является одним из путей производственного прогресса, то и развитие языка нередко движется в направлении экономии речевых средств. Глагол *пилить*, образованный от слова *пила*, названия главного инструмента в новом деле, сделал ненуж-

ными прежние многословные высказывания. Например: «...и кой де у них сосны на Воронеж привезены, и ноября со 2 дня начали те сосновыя бревна и доски *пилить*» (Елагин С. Там же).

В XVIII веке слово *пилить* быстро становится нормативным в русском языке и входит во все значительные лексикографические труды — Вейсманнов Лексикон 1731 г., Лексикон 1762 г., Российский Целлариус 1771 г. Примечательно, что в Словаре Академии Российской 1789—1794 гг. это слово толкуется еще посредством глагола *тереть — пилить* и *пиловать* «перетирать пилою надвое».

В заключение следует сказать несколько слов о становлении глагола *пилить* в украинском языке. Имея лишь косвенные данные об украинских *тертинщиках,* П. Г. Любомиров не без основания предполагал, что на Украине ручное пиление распространилось с конца XV века. Этому способствовало и такое печальное обстоятельство, как варварская вырубка лесов хозяйничавшими там польскими магнатами. В наши дни в распоряжении исследователей оказался документ Житомирского городского суда 1582 года, в котором не только подтверждается существование пильного дела на Украине в XVI веке, но и отражена едва ли не самая ранняя письменная фиксация глагола *пилить* (*пиловать*): «Микиту; бондаря, в лесе поимавши, збил, змордовал; сермягу, кожух, сокиру, *пилу великую,* што *дуб пилують*... отнял» (Актова книга Житомирського міського уряду кінця XVI ст. 1582—1588 рр.— Київ, Наукова думка, 1965).

Киев

Рисунок Н. Беланова

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

«В последнее время часто встречаю в газетах слово *волнительно.* Правильно ли это?»

Л. П. Горновой, *Львов*

Прилагательное *волнительный* (и наречие *волнительно*) употреблялось старыми русскими актерами. Оно встречается и в статьях современных деятелей театра и кино. Можно полагать, что оно зародилось в артистической, театральной среде в качестве профессионализма и до известной степени сохраняет свою окраску специфического актерского употребления и в наши дни. (Об этом слове более подробно рассказано в «Русской речи»: 1968, № 1).

На читательской конференции в Таллине

В апреле нынешнего года состоялась встреча редакции журнала «Русская речь» с читателями. Она проходила в Таллинском педагогическом институте.

Открывая конференцию, главный редактор журнала В. В. Иванов рассказал об истории его создания, целях, задачах, своеобразии научно-популярного издания по русскому языку — единственного по своему характеру в нашей стране. За прошедшие 20 лет журнал выработал свою линию, нашел своего читателя, а постоянные читательские конференции дают возможность услышать мнение тех, для кого журнал предназначен, и вести дальнейшую работу по его совершенствованию.

Выступившие на конференции преподаватели и студенты педагогического института дали высокую оценку ряду материалов, опубликованных в «Русской речи» за последние пять лет, по некоторым статьям высказали замечания, внесли конструктивные предложения.

Так, заведующий кафедрой русского языка профессор А. Я. Баудэр отметил, что журнал является хорошим помощником преподавателям и студентам в условиях национальной республики, так как в популярной форме знакомит с трудными случаями в грамматике русского языка, новыми достижениями в области науки о нем; также ценны, на его взгляд, циклы статей по проблемам общения и речевому этикету.

Доцент Ю. М. Златопольский отметил актуальность и содержательность материалов, посвященных языку и стилю произведений В. И. Ленина и пропагандистов его школы.

В своем выступлении заведующая кафедрой русской литературы доцент В. Н. Невердинова обратила внимание на то, что очень редко в последнее время появляется литературная страница, а в статьях о языке и стиле писателей не всегда даются литературоведческие оценки творчества писателей, что обедняет лингвистический материал. По ее мнению, журнал выглядел бы интереснее и богаче, если бы на его страницах чаще появлялись статьи, посвященные словарю писателей и их работе над словом.

Заведующий кафедрой русского языка и методики преподавания, доцент А. А. Давидянц отметил доступность в изложении материалов, а также популярность журнала среди широкого круга чи-

тателей — не только филологов, но и всех, кто интересуется русским языком, русской культурой.

По редакционной почте мы знаем, что большим интересом пользуются материалы по древнерусской письменности, русской культуре. На этой теме сосредоточила свое выступление доцент кафедры русского языка Н. А. Нечунаева. Она обратила также внимание на то, что до сих пор журнал не обращался к переводной древней литературе, что дало бы читателю представление о круге интересов наших древних предков, о древнерусской культуре, причем, хорошо бы материалы о языке и стиле перевода сочетать с фрагментами самих текстов как иллюстративным материалом к научному исследованию.

На высказанные замечания и вопросы отвечала Н. А. Ревенская, ответственный секретарь журнала «Русская речь». Она также подробно рассказала о работе коллектива редакции над расширением тематики журнала, о стремлении сделать страницы «Русской речи» интереснее, содержательнее, о желании приобрести новых читателей, в первую очередь из среды учителей средней школы, которым журнал может особенно пригодиться в условиях школьной реформы, когда первостепенное значение придается подъему общей культуры нашей молодежи. Из ближайших планов редакции:

— в будущем году появится рубрика **«Поступающему в вуз»**, которая будет нацелена на конкретную помощь абитуриентам в написании сочинения. Опыт приемных экзаменов показывает, что именно сочинение все еще остается для многих камнем преткновения на пути к высшему образованию;

— появится в журнале и страничка **«Трудные случаи орфографии»**;

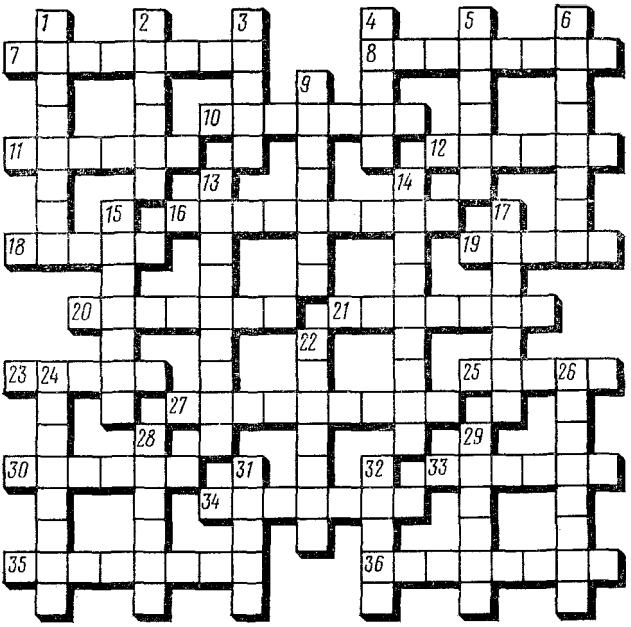
— редакция намерена обратиться к судьбе исторических географических названий, их значению, проблеме бережного сохранения;

познакомить читателей с творчеством до недавнего времени малоизвестных, порой забытых, но достойных художников слова;

— для журналистов, всех работников печати будет расширен раздел «Язык прессы»;

— и, конечно же, не будет забыта литературная страница. Уже в этом номере «Русская речь» предлагает своим читателям насыщенный неувядаемым юмором рассказ М. Зощенко «Обезьяний язык».

Т. С. Колмакова



Кроссворд
«М. Ю. Лермонтов. ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»

По горизонтали: 7. Последняя глава романа. 8. Подразделение пехоты, в котором служил Максим Максимыч. 10. Конь, который славился в целой Кабарде. 11. Одна из вещей Печорина — подарок приятеля, — украденная вместе с другими вещами слепым мальчиком. 12. Предмет мебели в таманской хате, где Печорин вынужден был остановиться на ночлег. 16. Город, из которого главный герой направлялся в Персию. 18. Воинское звание Грушницкого в начале повествования. 19. Оружие, которым был убит поручик Вулич. 20. Примета внешности, по которой Печорин сразу узнал Веру из рассказа доктора. 21. Несмотря на национальные различия, отец Бэлы и Максим Максимыч были кунаками. Кто был отец Бэлы по национальности? 23. Хандра, тоска, уныние, которые, как надеялась княгиня Л., мог развеять воздух ее гостиной. 25. У мусульман: женское легкое покрывало во весь рост, закрывающее голову и лицо. В такое покрывало была закутана украденная Бэла. 27. Представительница московской знати. 30. Предмет, косвенно послуживший поводом для появления на серебряном кольце Грушницкого имени *Мери*. 33. Человек, смертельно ранивший Бэлу и убивший ее отца. 34. Французский писатель, создавший образ «тридцатилетней кокетки», с которой рассказчик сравнивает Печорина. 35. Куртка с нашитыми на груди поперечными шнурами. В нее был одет лакей Печорина. 36. После дуэли и бешеной скачки за Верой герой возвратился в Кисловодск и уснул, как знаменитый полководец после крупного поражения. Кто этот полководец?

По вертикали: 1. Войсковые части, расположенные в городе или крепости; например, те, которые участвовали в поисках черкесов после выстрела Грушницкого из ружья. 2. Что помогло Печорину узнать планы своих врагов и тем самым избежать возможности сделаться посмешищем? 3. Печорин

заранее знал, что «мистификация» *Грушницкого* не удастся, что они поменяются ролями: теперь уже ему, Печорину, придется отыскивать на бледном лице своего противника признаки тайного чувства. Что это за чувство? 4. В период *присоединения* Кавказа к России: горец, участвовавший в борьбе против царских войск. 5. Воинское подразделение, несущее охрану чего-либо. Это к нему громко взывали Грушницкий и драгунский капитан после неудачной попытки схватить Печорина. 6. Речка, при переезде через которую княжне стало дурно. 9. Танец, *на который «ангажировал»* княжну пьяный господин. 13. Место, куда нетерпелось отправиться *Печорину из* Тамани. 14. Гора, которую объезжали рассказчик и Максим Максимыч. 15. Офицер, *которого по одежде и по* искусству верховой езды часто принимали за черкеса. 17. Воинское звание одного из секундантов Грушницкого. 22. Суеверное предание (например, о том, будто судьба человека написана на небесах). 24. Предмет, который упал в воду перед началом борьбы Печорина со своей ундиной в лодке. 26. Герой приключенческого романа, носивший такую же толстую трость, что и московский франт Раевич. 28. Гора, с которой начинается «серебряная цепь снеговых вершин», оканчивающаяся двуглавым Эльбрусом. 29. У доктора Вернера одна нога была короче другой, как у знаменитого английского поэта. Кто этот поэт? 31. Птица, которую вместе с кахетинским вином предлагает Максим Максимыч, упрашивая Печорина остаться с ним пообедать. 32. Сооружение, виднеющееся на вершине утеса, если смотреть из Тамани на дальний берег Крыма.

Составил В. Н. Шеворак

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

«Как *правильно сказать — Токио допустил* или *Токио допустило*?»

В. Д. Анисимов, *Москва*

В «*Энциклопедическом* словаре географических названий» (М., «Советская энциклопедия», 1973) в словарной статье, посвященной Токио, есть такое предложение: *Токио подвержен* землетрясениям, то есть географическое наименование *Токио* употреблено в мужском роде (в соответствии с осмыслением его через слово «город»). Следовательно, нужно говорить *Токио допустил*.

«И, конечно же, *улица Кузнецкий мост!*»

Заголовок настоящей заметки дословно повторяет концовку статьи Г. П. Бондарук «Кузнецкий Мост или мост?», опубликованной в журнале «Русская речь» (1986, № 4). Но есть и разница: автор статьи настаивает на написании *Кузнецкий Мост* (слово *мост* с прописной буквы).

Какие доводы приводятся в защиту этого утверждения? Г. П. Бондарук ссылается на один из пунктов действующих «Правил русской орфографии и пунктуации» (М., 1956), который гласит: «Существительные, входящие в состав сложных собственных наименований и условно называющие предмет, пишутся с прописной буквы, например: *Золотой Рог* (бухта), *Чешский Лес* (горы), *Красное Село* (город), *Малые Кочки* (улица), *Большая Медведица* (созвездие) (§ 100). Здесь, действительно, речь идет об условных названиях: *Рог* — это не бухта, *Лес* — это не горы, *Кочки* не входят в число родовых названий микротопонимики и т. д.

Г. П. Бондарук добавляет множество аналогичных названий: *Темный Лес* (урочище), *Зеленый Колодезь* (река), *Карасиная Лужа* (озеро) и т. д. Дальше делается вывод: «Названия улиц, площадей, переулков и подобных внутригородских объектов современных городов надо писать так же, как и прочие географические названия... Итак, с прописной буквы пишутся все слова, входящие в состав названий внутригородских объектов, за исключением родовых терминов...: *улица Народного Ополчения, проспект Маршала Жукова, 1-я улица Красной Сосны...*»

Все это верно, но непосредственного отношения к рассматриваемому случаю (*Кузнецкий Мост* или *мост*) не имеет. Здесь смешаны два понятия: условное, переносное название и действительное, реальное. Оттого, что реалия сейчас не существует, написание не должно меняться.

Обратимся к практике печати. Читаем: «Прежде чем пересечь улицу Кузнецкий мост...» (Досуг в Москве, 1986, 13 авг.). В газете «Вечерняя Москва» неоднократно встречалось это название, но ни

разу слово *мост* не приводилось в ином написании. Писатель С. А. Дангулов дважды (в 1972 и 1979 гг.) издал роман под названием «Кузнецкий мост» (так это отмечается и в «Советском Энциклопедическом Словаре», 1985). Конечно, можно сказать, что автор, редактор, корректор заблуждаются, но тогда вступает в силу твердое логическое и юридическое положение: бремя доказательства ложится на того, кто утверждает. К сожалению, Г. П. Бондарук ни в этой своей статье, ни в другой (о ней пойдет речь дальше) не приводит ни одного примера из практики печати, ограничиваясь теоретическими соображениями.

Интересно также, что получится, если, как было сообщено в «Вечерней Москве» (1986, 23 авг.) и в телепередачах программы «Время» (1986, 10 и 31 авг.), при реконструкции заповедной зоны в этой части Москвы будет подготовлен мост для показа. Правда, это будет только часть улицы, но ведь и при его сооружении мост занимал не всю улицу, а только часть ее, иначе это была бы Венеция, а не Москва. Как будем тогда писать?

Другой случай: старые москвичи, к которым принадлежит и автор этих строк, помнят сооружение Красные ворота на теперешней Лермонтовской площади. Тогда писали: *живет у Красных ворот*. Потом ворота при реконструкции площади снесли, и, следуя логике рассуждений Г. П. Бондарук, в дальнейшем следовало бы писать: *живет у Красных Ворот* (ведь ворот-то уже нет). Если же теперь по решению исполкома Моссовета восстановлено прежнее название станции метро «Красные ворота», то как писать его название?

Кстати, маленькое уточнение: в названной статье автор пишет, что в словаре-справочнике «Прописная или строчная?», составленном Д. Э. Розенталем, названия улицы *Кузнецкий Мост* нет: это верно, потому что есть *Кузнецкий мост* (с. 266).

Проследим аналогичные случаи. В статье «Мосты, улицы, проспекты...» (Веч. Москва, 1985, 11 марта) Г. П. Бондарук пишет: «Площадь Никитских Ворот», «Сущевский Вал», «Бутырский Вал» (в каждом сочетании второе слово тоже с прописной буквы). Подтверждается ли такое написание практикой печати? Отнюдь нет.

Как известно, *Белый город* (часть территории Москвы, окруженной стеной,— теперешнее Бульварное кольцо) имел в этой стене ворота (также: *Ильинские ворота* в Китай-городе, *Никольские ворота* и др.) Их уже нет, но встречаем написания, в частности в газете «Вечерняя Москва»: «Улицу Петровку завершает площадь Петровских ворот...» (1986, 13 авг.), «площадь Никитских ворот» (1981, 31 янв.) Известный историк города Москвы М. Синютин пи-

шет: «у Покровских ворот, у Арбатских и Сретенских ворот» (1979, 26 апр.)

Второе кольцо, большего радиуса, включало в себя территорию, опоясанную теперешним Садовым кольцом, на нем и на периферии города находились валы. В той же газете читаем: «Земляной вал», «Зацепский вал». В приведенном ранее решении исполкома Моссовета указывается: «Восстанавливается старое название улицы *Фрунзенский вал* — улица *Хамовнический вал*». Другое дело — *Песчаный Вал* (населенный пункт).

Для проверки изложенного мы провели небольшой эксперимент: отобрали два десятка грамотных людей (это были учителя-словесники, журналисты, литераторы, редакционно-издательские работники, студенты-филологи) и предложили им сделать выбор одного из двух написаний:

Арбатские (Кировские, Никитские, Покровские, Сретенские) *ворота* или *Ворота*;

Бутырский (Зацепский, Земляной, Пресненский, Сущевский, Фрунзенский) *вал* или *Вал* (заметим, что в перечне улиц, приложенном к плану-схеме Москвы, во всех названиях слово *вал* написано со строчной буквы);

Кузнецкий *мост* или *Мост*.

Ни один участник эксперимента не выбрал написания слов *ворота, вал, мост* с прописной буквы.

В заключение, рискуя быть обвиненным в плагиате, повторяю: «И, конечно же, *улица Кузнецкий мост*!»

Д. Э. Розенталь,
доктор филологических наук

Редакция попросила старшего научного сотрудника Института русского языка АН СССР доктора филологических наук С. М. Кузьмину прокомментировать статьи Г. П. Бондарук (Русская речь, 1986, № 4) и Д. Э. Розенталя. Вот какой ответ мы получили.

Две статьи посвящены одному и тому же вопросу — как правильно писать: *Кузнецкий Мост* или *Кузнецкий мост*? Авторы этих материалов, опираясь на одно и то же правило, тем не менее дают разные рекомендации. Почему так происходит?

Г. П. Бондарук хочет, чтобы строго соблюдалось действующее правило: «Существительные, входящие в состав сложных собственных наименований и условно называющие предмет, пишутся с прописной буквы...» (Правила русской орфографии и пунктуации. М.,

1956). Существительное *мост*, входящее в состав сложного собственного наименования *Кузнецкий мост*, условно называет предмет: моста нет, слово *мост* не передает родовое понятие, а входит как составная часть в собственное имя *Кузнецкий мост* и потому, следуя правилу, его надо писать, как и составные имена людей (*Всеволод Большое Гнездо*) и составные имена городов и мест (*Белая Церковь, Золотой Рог*), с прописной буквы.

Д. Э. Розенталь убедительно показывает, что практика печати последовательно нарушает предписание правила: несмотря на условность названий *мост, ворота, вал* в собственных наименованиях *Кузнецкий мост, Никитские ворота, Сущевский вал*, эти слова передаются со строчной буквы. [Правда, Д. Э. Розенталь не признает такие написания нарушением правила: он предлагает не считать название условным, если реалия исторически существовала. Однако на названия населенных пунктов это почему-то не распространяется.] Тем самым практика печати закрепила разное написание, с одной стороны, населенных пунктов, в которых с большой буквы пишутся все части (*Камышовая Бухта, Горные Ключи*), а с другой — внутригородских объектов — улиц, площадей. Практика печати получила отражение в опыте словаря-справочника Д. Э. Розенталя «Прописная или строчная?» (М., 1984). К сожалению, название *Кузнецкий мост* в справочнике «спряталось» в примерах на слово *улица*, где его не просто обнаружить.

Такое расхождение орфографических правил и практики печати, узаконенной в справочнике «Прописная или строчная?», является тревожным сигналом неблагополучия правила. В самом деле, нельзя признать удачным правило, заставляющее пишущего наводить справки: есть ли в действительности мост на улице *Кузнецкий мост* или ворота на площади *Никитских ворот*. Видимо, оно нуждается в пересмотре, в уточнении.

На вопросы читателей в этом номере журнала отвечали сотрудники Института русского языка АН СССР: кандидаты филологических наук Л. Н. Кузнецова, Л. В. Куркина, научный сотрудник Т. В. Горячева.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
«М. Ю. ЛЕРМОНТОВ.
ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»

По горизонтали: 7. Фаталист. 8. Батальон. 10. Карагез. 11. Кинжал. 12. Сундук. 16. Петербург. 18. Юнкер. 19. Шашка. 20. Родинка. 21. Татарин. 23. Сплин. 25. Чадра. 27. Лиговская. 30. Стакан. 33. Казбич. 34. Бальзак. 35. Венгерка. 36. Наполеон.

По вертикали: 1. Гарнизон. 2. Случай. 3. Страх. 4. Абрек. 5. Караул. 6. Подкумок. 9. Мазурка. 13. Геленджик. 14. Крестовая. 15. Печорин. 17. Капитан. 22. Поверье. 24. Пистолет. 26. Робинзон. 28. Казбек. 29. Байрон. 31. Фазан. 32. Башня.

От редакции:

В связи с многочисленными вопросами читателей сообщаем, что подписка на журнал «Русская речь» принимается без ограничений всеми отделениями связи.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Н. С. ВАЛГИНА, И. Ф. ВОЛКОВ, В. П. ВОМПЕРСКИЙ, А. И. ГОРШКОВ, П. Н. ДЕНИСОВ, И. Г. ДОБРОДОМОВ. Л. П. ЖУКОВСКАЯ, В. В. ИВАНОВ (главный редактор), Л. М. ЛЕОНОВ, И. Ф. ПРОТЧЕНКО (зам. главного редактора), Н. А. РЕВЕНСКАЯ (ответственный секретарь), Л. И. СКВОРЦОВ (зам. главного редактора), Ф. П. СОРОКОЛЕТОВ, Н. И. ТОЛСТОЙ

Заведующая редакцией
Т. С. Колмакова

Художественный редактор
Е. Н. Сапожникова

Корректоры
В. В. Беляев, М. Б. Рыбина

Сдано в набор 18.06.87.
Подписано к печати 03.08.87.
А-08999. Формат бумаги 84×108/32.
Печать высокая. Усл. печ. л. 8,4.
Усл. кр.-отт. 576,65 тыс. Уч.-изд.
л. 9,8. Бум. л. 2,5. Тираж 67 000.
Заказ 579

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука».
Адрес редакции: 121019, Москва, Г-19, Волхонка, 18/2. Телефон: 202-65-25
2-я типография издательства «Наука»
121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6